

Иногда
главная ошибка —
это не он,
а твои ожидания...



ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА

Ошибка 404

РОМАН О ЛЮБВИ, ИЛЛЮЗИЯХ
И ЖЕНСКОМ ВЫБОРЕ

ОКСАНА ВОЛКОВА

Оксана Волкова

Замуж за миллионера. Ошибка 404

«Автор»

2026

Волкова О.

Замуж за миллионера. Ошибка 404 / О. Волкова — «Автор»,
2026

Она не искала миллионера. Она просто хотела выглядеть на миллион. Дорогая сумка. Безупречный маникюр. Квартира с видом на парк. Маша придумала себе красивую жизнь — и встретила мужчину, которому эта жизнь оказалась совершенно не нужна. Он влюбился в девушку, которой, как ему казалось, ничего от него не требовалось. Только девушку звали не Марта. Квартира была чужой. А сумка каждый месяц напоминала о себе сообщением из банка. У её подруг свои секреты. Одну богатый мужчина с первого взгляда записал в папины дочки — из-за бриллиантовых серёг. Другая боится принять помощь, потому что однажды уже заплатила за неё свободой. Третья скрывает прошлое от человека, который привык проверять каждое слово. И пока женщины пытаются произвести правильное впечатление, мужчины совершают собственные ошибки. Они умеют зарабатывать миллионы. Но совершенно не умеют разбираться в любви. Романтическая комедия о красивой жизни, чужих ожиданиях и чувствах, которые не измеряются деньгами.

© Волкова О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Сумка дороже спокойствия	5
Глава 2. Бриллианты в семь утра	12
Глава 3. Дело не в платье	18
Глава 4. Три секунды на человека	24
Глава 5. Всё включено, кроме согласия	30
Глава 6. Проверке не подлежит	36
Г	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Оксана Волкова

Замуж за миллионера. Ошибка 404

Глава 1. Сумка дорожке спокойствия

Самое дорогое в красивой вещи — необходимость ей соответствовать.

Сумка стояла на столе, как гостья, которой ещё не придумали места.

Маша переставила её от монитора к окну, от окна — к стопке договоров, а потом снова к монитору. На свету тиснёная кожа отливала песком и мёдом. Рядом с договорами сумка выглядела строже. У монитора казалось, что она забрела в агентство из другой жизни и вот-вот попросит вызвать её такси.

— Ты её выгуливаешь? — спросила Агата из дверей.

Субботним утром начальница выглядела так, будто собиралась не на свадьбу на двести гостей, а на рыбалку: джинсы, мужская рубашка с закатанными рукавами, ноутбук под мышкой, в руке картонный стакан с кофе. Только серьги — две тонкие серебряные палочки — напоминали, что вечером она будет стоять у входа в банкетный зал и улыбаться так, что ни один гость не заподозрит, что у невесты ещё не приехало платье.

— Ищу ей место, — сказала Маша. — Она пока стесняется.

— Она? — Агата поставила стакан на край стола, подальше от кожи. — Маш, это сумка. Сумки не стесняются. Стесняешься ты.

Телефон на столе коротко завибрировал и засветился. Маша потянулась к нему чуть позже, чем следовало.

Агата умела читать вверх ногами. Это был профессиональный навык: за годы работы с подрядчиками она научилась видеть сумму в чужом договоре через стол, через чашку и через чужую руку, прикрывающую лист. Сейчас ей не мешало ничего.

«График платежей по договору рассрочки от 09.10 доступен в приложении. Ближайший платёж: 10.11».

— Рассрочка, — сказала Агата без вопросительной интонации.

— Беспроцентная. Это почти подарок.

— Почти подарок от банка. — Агата отпила кофе. — Рассрочка через банк — это кредит, Соколова. Просто в бархатной коробке.

— Зато с бантиком.

— Бантик тоже входит в стоимость.

Маша ждала продолжения: про подушку безопасности, про то, что в двадцать девять лет пора бы, про то, что у Агаты в её возрасте... Продолжения не было. Агата посмотрела на сумку тем же взглядом, каким смотрела на банкетный зал перед монтажом, — оценивающим, без восторга и без осуждения, — и спросила:

— На юбилей её возьмишь?

— Она посидит в подсобке. Ей полезно посмотреть, как живут люди.

— Тогда слушай. — Агата раскрыла ноутбук прямо на стопке договоров. — Юбилей Ильи Марковича — твой. Целиком.

— Целиком? — переспросила Маша. — А ты?

— А я в Заречье, у меня невеста без платья и жених с аллергией на лилии, которые его мама заказала в двойном количестве. Лена с температурой. Ты справишься.

Сказано было так просто, что Маша не сразу поняла, что это не поручение, а подарок. Первый юбилей, который она ведёт одна. Не «помоги», не «подстрахуй», не «побудь на рассадке», а «твой».

— Справлюсь, — сказала она.

— Знаю. И ещё. — Агата развернула ноутбук. — В четверг открытие культурной программы на площадке. Бейджи для персонала на тебе. Шаблон в общей папке. В понедельник утром — у меня на столе, напечатанные и в держателях.

— А в держатели кто вкладывает?

— Тот, кто любит красивые вещи, — сказала Агата, забрала кофе и ушла, оставив после себя запах горького зерна и ощущение, что разговор о сумке на самом деле состоялся.

* * *

Сумку Маша купила в четверг, в половине восьмого вечера, когда в бутике на первом этаже торгового центра уже начали гасить подсветку витрин.

Три месяца она видела такие сумки на мероприятиях. Их ставили на соседний стул, как кошек, их небрежно вешали на спинку кресла, их владелицы никогда не держали их обеими руками. Маша смотрела на них, пока расставляла таблички с именами, пока искала зарядку для диджея, пока объясняла официанту, что у гостей за четвёртым столом аллергия на кунжут. И однажды поймала себя на том, что запоминает не лица гостей, а их сумки.

Консультантка в бутике говорила тихо и отдельно, как пианистка, объясняющая ученице аппликатуру.

— Эта модель — для женщин, которые точно знают, чего хотят.

Маша не знала. Но кивнула.

Потом она сидела на скамейке у фонтана, держала на коленях фирменный пакет с жёсткими ручками и открывала калькулятор. Платёж получался таким, что из месячного бюджета можно было спокойно вычеркнуть такси, маникюр в салоне и обеды не из контейнера. До самого лета. Маша пересчитала трижды, каждый раз надеясь на другой результат, но калькулятор упрямо сходил с её совестью.

Поэтому сегодня в её старом рюкзаке, который ехал в машине рядом с коробкой запасных свечей, лежал контейнер с гречкой. А на заднем сиденье, отдельно, бизнес-классом, ехала сумка.

* * *

Ресторан стоял у воды, в сорока минутах от города. Деревянная терраса, панорамные окна, осенний парк, в котором клёны уже начали сдаваться. Маша приехала в три, за четыре часа до гостей, и первым делом обошла всё сама.

Флористка Даша сидела на полу среди вёдер с эвкалиптом и ранункулюсами и собирала композиции на столы.

— Даш, ты помнишь, что я заказывала десять процентов сверху?

— Помню. Стоят вон там, в синем ведре. Зачем тебе всегда лишнее?

— Затем, что лишнее бывает только до половины девятого.

Маша проверила рассадку и нашла ошибку в карточке: тётя юбиляра значилась «Аделаидой Степановной», хотя в списке клиента была Аделаида Стефановна. Маша переписала карточку от руки — почерк у неё был хороший, круглый и уверенный, почерк человека, которому в школе ставили пять за аккуратность и четыре за поведение. Она поздоровалась с каждым официантом по имени, напомнила звукорежиссёру, что «Вальс» Свиридова ставится после второго тоста, а не после первого, выпила стакан воды, не присев, и ровно в семь стояла у входа в тёмно-синем платье. Это платье когда-то помогла выбрать Агата и сказала тогда: «Посадка важнее этикетки. Если платье хорошо сидит в плечах, ты можешь в нём бегать, наклоняться и спасать мир. Если нет — ты будешь спасать только платье».

В этом платье Маша бегала, наклонялась и пока ничего не спасала. Всё шло так гладко, что становилось тревожно.

Илья Маркович, семидесятилетний юбиляр, крупный, весёлый, с голосом человека, привыкшего перекрикивать ветер, обнимал гостей так, будто каждого вытащил из воды. Его жена

Вера Павловна, которая три недели переписывалась с агентством по поводу оттенка салфеток, подошла к Маше на секунду и сказала: «Как хорошо, что салфетки всё-таки лавандовые», — и это было высшей наградой.

Минут через двадцать после того, как гости расселись, Маша несла к седьмому столу запасную вилку и услышала за спиной негромкое:

— Скажите, а как вы относитесь к сексу с малознакомым мужчиной?

Спрашивал седой господин в бордовом галстуке. Спрашивал соседку — даму в жемчуге и с безупречной укладкой, — причём смотрел не на неё, а в заливное, будто советовался с ним.

Дама не спеша поставила бокал.

— Положительно. Но сначала хотелось бы понять, насколько он малознакомый.

— Мы сидим рядом двадцать минут.

— Тогда вы уже почти родственник. А с родственниками я строга.

За соседним столом кто-то прыснул в салфетку.

— Вы всегда так прямо спрашиваете? — поинтересовалась дама.

— Только когда волнуюсь.

— Тогда не волнуйтесь. Начните с имени.

Маша положила вилку, отошла к колонне и всё-таки заглянула в рассадку. Седьмой стол, места пять и шесть: «Лавровы, друзья юбиляра». Рядом стояла приписка Веры Павловны, которую Маша неделю назад сочла капризом: «Сажать только вместе. Сорок лет в браке, а если разлучить — весь вечер будут переписываться через стол».

В девять двадцать, когда горячее уже ушло в зал, а торт должны были выкатить в десять, зазвонил телефон.

— Девушка, — сказал в трубке мужской голос с мягким южным акцентом, — это курьер. Из кондитерской. Рустам. Тут такое...

Маша вышла в коридор у кухни.

— Рустам, вы где?

— На повороте с трассы. Там «газель» выскочила, я тормознул. Ну вот... Верх поехал.

— Что значит «поехал»?

— Ну, он был ровно, а теперь он думает.

Маша на мгновение закрыла глаза. Торт был трёхъярусный, с сахарной яхтой на вершине, потому что Илья Маркович всю жизнь ходил под парусом и в каждом тосте обязательно рассказывал, как однажды перевернулся у каменистого острова, названия которого никто из гостей так и не запомнил. В договоре с кондитерской стоял пункт, который Маша вписала сама: «Ярусы транспортируются раздельно, сборка на площадке». Значит, в кондитерской что-то пошло не так.

Кричать хотелось. Но крик плохо держит крем.

— Рустам, вы целы? Машина цела?

— Я — да. Машина — да.

— Тогда остальное — моя работа. Сколько вам ехать?

— Минут двадцать.

— Поезжайте так, будто везёте бабушку на дачу. Не быстрее. Я жду вас у служебного входа.

Она тут же набрала кондитера.

— Анжела, это Маша из агентства. Ваш торт собран и едет. Верхний ярус съехал.

В трубке было слышно, как Анжела хватается за воздух.

— Как собран? Я же говорила Вике... — Анжела запнулась. — Господи. У нас фургон с утра в ремонте, Рустам повёз на своей машине. Три коробки с холодильными пакетами туда не влезали, и Вика, видимо, собрала, чтобы влезла одна. Маша, я...

— Анжела, мне сейчас не нужно, чтобы вы извинялись. Мне нужно, чтобы вы говорили. Сколько опор в каждом ярусе?

— По пять трубочек. Пищевой пластик. Центральный стержень — нет, без стержня.

— Отлично. Через двадцать минут вы будете у меня на громкой связи. Не отключайтесь, даже если захочется.

Третий звонок был ведущему.

— Гриша, меняем порядок. Слайд-шоу и песня внуков — до торта, а не после.

— Внуки ещё не распелись.

— Значит, распоеются на сцене. Как настоящие артисты. Мне нужно двадцать пять минут.

— За двадцать пять минут они споют три раза.

— Пусть поют три раза. Это юбилей, а не конкурс.

На кухне шеф-повар Тимур — невысокий, сердитый, в чёрной бандане — слушал её объяснение, не отрываясь от гарнира.

— Мне угол стола и широкую лопатку, — сказала Маша. — И вас на десять минут, когда торт придет.

— У меня горячее.

— Горячее уже на столах, я видела. Следующие сорок минут у вас только посуда. Посуду я у вас не отнимаю.

Тимур поднял голову. Посмотрел на неё внимательно, как смотрят на поставщика, который впервые привёз нормальную рыбу.

— Угол — левый, — сказал он. — Лопатки в третьем ящике.

* * *

Телефон завибрировал снова в девять тридцать пять. Агата.

— Как у тебя?

Маша стояла у служебного входа и смотрела на дорогу.

— Скучно. Все едят.

— Не ври мне. У тебя голос человека, который держит нож.

— Лопатку.

— Значит, торт, — сказала Агата. — Помощь нужна?

— Нет.

— Хорошо. Перезвони, когда будет правда.

Маша не знала, обиделась она или ей стало легче. Пожалуй, и то и другое.

Белая «Лада Ларгус» — личная машина Рустама, без всякого логотипа — подъехала через двадцать две минуты. Рустам вышел из машины так осторожно, будто внутри спал младенец, и открыл заднюю дверь.

Торт в коробке накренился. Верхний ярус съехал на край, крем на боку смялся в гармошку, а сахарная яхта лежала на палубе нижнего яруса, и мачта у неё была сломана пополам.

— Я правда медленно ехал, — сказал Рустам. — Это «газель».

— Я знаю. — Маша взяла у него один край коробки. — Вы ужинали?

Рустам растерялся.

— Нет ещё.

— Тимур вас покормит. Только сначала помогите донести.

Дальше было двадцать минут, которые Маша потом не смогла бы пересказать по порядку. Анжела на громкой связи диктовала: «Аккуратно, лопатку под картонную подложку, не под крем», и голос у неё перестал дрожать уже на второй минуте, потому что у неё появилась работа. Тимур держал нижний ярус, пока Маша поднимала верхний, и молчал так сосредоточенно, что было ясно: он разбирает торты и раньше. Верхний ярус спасти не удалось — бок у него провалился до бисквита. Маша без колебаний отправила его на десертные тарелки: «Пор-

ционно, с ягодами, на столы родственников первыми». Тётя Аделаида Стефановна получит лучший кусок и никогда не узнает, что он побывал в аварии.

Два нижних яруса стояли ровно. Пустую вершину Маша хотела закрыть ранункулюсами из синего ведра и позвала Дашу. Та прибежала на кухню с секатором.

— На торт? Ранункулюсы? — спросила она с ужасом флориста, которому предложили поставить розы в суп. — Маш, это лютик. Он ядовитый. И эвкалипт туда же. Ни один лепесток к крему.

— Тогда цветы — вокруг, на подносе, — сказала Маша. — А сверху что-нибудь съедобное.

— Голубика, малина, физалис, — сказал Тимур, не оборачиваясь, и мотнул головой в сторону холодильника. — Своё, мытое.

— На свадьбах торт хотя бы не попадал в аварию, — проворчала Даша.

— Этот тоже не попадал. Он просто много пережил.

Даша фыркнула и взялась за дело — молча и быстро. Ягоды легли на вершину горкой, цветы — венком на подносе, не касаясь крема. Получилась не корона, а сад, и это неожиданно смотрелось честнее, чем было задумано.

Оставалась яхта.

Маша взяла её в ладонь. Сахарная, тонкая, с аккуратными иллюминаторами, нарисованными пищевым карандашом. Сломанная мачта лежала рядом, как спичка.

— Выбросить? — спросил Тимур.

— Ни за что. — Маша убрала половинки мачты, уложила сахарный парус вдоль борта свёрнутым и поставила яхту на поднос у подножия торта, среди цветов. — Вот. Она пришла в гавань. Паруса убрали. Шторм кончился.

Тимур посмотрел на это и впервые за вечер улыбнулся углом рта.

— В гавани, — сказал он. — Ну-ну.

Внуки как раз допели третий раз. Гриша объявил торт. Свет приглушили, официанты выкатили тележку. Маша стояла у двери на кухню и смотрела не на торт, а на Илью Марковича.

Юбиляр поднялся, наклонился к цветам, увидел яхту со сложенным парусом, и лицо у него сделалось совершенно мальчишеским.

— Наконец-то! — сказал он на весь зал. — Семьдесят лет болтаюсь по морям, а меня наконец поставили на якорь!

Зал засмеялся. Вера Павловна отыскала Машу глазами у кухонной двери и кивнула.

Маша вышла в коридор, прислонилась к стене и отправила Агате одно слово: «Правда». Через минуту пришёл ответ: «Горжусь. Иди поешь».

* * *

Мужчину в коридоре она заметила ещё во время спасательной операции. Он стоял у двери на кухню с пустым стаканом в руке — якобы искал, где налить воды, но так ни разу и не налил. Лет шестидесяти пяти, сухой, с серебряными висками, в пиджаке цвета мокрого асфальта и с тростью, на которую опирался скорее из щегольства, чем по необходимости. Он не задал ни одного вопроса и не предложил помощи. Он просто смотрел, как смотрят в театре из бокового прохода, когда не хочется мешать актёрам.

В одиннадцать тридцать, когда последние гости разбирали пальто, Маша наконец переоделась из рабочих туфель в ботильоны, накинула пальто и забрала из подсобки сумку. В зеркале у гардероба отразилась женщина в тёмно-синем платье, в сером пальто и с медово-песочной сумкой на плече. Женщина в зеркале вполне могла сойти за гостью. Маша задержала на ней взгляд дольше, чем позволяла себе на работе.

— Это вы спасли яхту.

Он стоял у колонны, уже в пальто, и трость держал под мышкой, как зонтик.

— Яхта спаслась сама, — сказала Маша. — Я только объяснила ей, что шторм кончился.

Мужчина рассмеялся — негромко, с удовольствием, словно услышал хорошую цитату и теперь пытается вспомнить, откуда она.

— Я наблюдал за вами на кухне. Обычно в таких историях все кричат. А вы накормили курьера.

— Голодный курьер — это следующий сорванный заказ.

— Практично. — Он чуть наклонил голову. — И очень редко. Как вас зовут?

Вопрос был обычный. Ей задавали его десятки раз за вечер: официанты, звукорежиссёр, тётя Аделаида Стефановна, которая хотела поблагодарить «девочку с кухни». «Маша», «Машенька», «Маш, подай», «Маш, где стулья». Имя, которое кричат через весь зал. Имя, на которое оборачиваются, не поднимая головы от списка.

Ремень сумки лёг на плечо удобнее, чем утром.

— Марта, — сказала она.

Слово вышло спокойно, как будто она произносила его всю жизнь, и только где-то внутри коротко хлопнуло — как дверь в пустом подъезде.

— Марта, — повторил он, пробуя на вкус. — Редкое имя. Савелий Андреевич. Мы с Ильёй Марковичем когда-то вместе пытались утонуть в одном очень холодном заливе, но у него это получалось лучше.

— Тогда понятно, почему он так обрадовался гавани.

— Вот именно. — Савелий Андреевич достал из кармана перчатки и начал не спеша их надевать. — В четверг на площадке открывается осенняя культурная программа. Я там в попечительском совете — это значит, что меня приглашают на все открытия и ни на одно совещание. Вы случайно не бываете на таких вечерах?

— Наше агентство ведёт открытие.

— Какое удачное совпадение. — Он застегнул вторую перчатку. — Тогда я вас там найду, Марта.

Он поклонился чуть старомодно, одним движением головы, и ушёл к машине, где его ждал водитель с открытой дверцей.

Маша осталась у колонны. Гардеробщица гасила свет над вешалками, из зала доносился звон собираемых бокалов, Тимур на кухне отчитывал кого-то за мокрую тряпку на горячей плите. Всё было как обычно, и всё было немного не так, как будто она надела вещь на размер меньше и теперь боялась сделать глубокий вдох.

Она не стала его догонять и поправлять. Не стала смеяться и говорить: «Вообще-то я пошутила». Повода не было. Человек с тростью ушёл, и вместе с ним ушла последняя возможность сказать правду так, чтобы она прозвучала как шутка.

* * *

В офис Маша приехала без четверти час. Можно было отвезти коробку со свечами, лентами и скотчем в понедельник. Но она знала себя: если сейчас поехать домой, она будет лежать и прокручивать в голове яхту, Тимура, лавандовые салфетки и одно слово, сказанное у колонны. А в офисе можно сделать что-то полезное.

Свет она включила только над своим столом. Остальной офис тонул в полумраке: силуэты стоек для бейджей, рулоны баннеров, на подоконнике у Агаты — фикус, которому она не давала имени из принципа: «Назовёшь — привяжешься, а он засохнет». Принтер в углу мигал зелёной лампочкой.

Маша поставила сумку на стол, к монитору. Ночью, при одной лампе, сумка больше не выглядела гостьей.

Общая папка. «Открытие_программы_четверг». «Бейджи_персонал». Шаблон открывался медленно. Агата сделала его аккуратно: логотип агентства в углу, тонкая линия под именем, должность мелким шрифтом.

«Елена Фомина, администратор площадки». «Даниил Кротов, техническая группа». «Ольга Сизова, регистрация».

«Мария Соколова, координатор гостей».

Маша смотрела на эту строчку долго. Обычное имя. Имя из школьного журнала, из больницы, из договорной рассрочки, где оно стояло рядом со словом «заёмщик». Имя, которое в четверг увидит Савелий Андреевич, если подойдёт достаточно близко, чтобы прочитать бейдж. А он подойдёт. Он обещал.

Телефон на столе вспыхнул, напомнив о себе. Она перевернула его экраном вниз.

Курсор мигал в конце строки, терпеливо, как официант, ждущий, когда гостья выберет вино.

Маша выделила «Мария Соколова» и нажала «Удалить». Строка опустела. Под ней по-прежнему стояло «координатор гостей», и было странно видеть должность без человека.

Она набрала пять букв. Посмотрела. Чуть увеличила шрифт, потом вернула прежний размер, чтобы не выделяться среди остальных.

Потом нажала «Печать».

Принтер в углу проснулся, втянул лист, помолчал секунду, будто давал ей время передумать, и выдал Марту — тёплую, ещё пахнущую тонером.

Глава 2. Бриллианты в семь утра

В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности.

Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»

Константин бегал так же, как вёл дела: по маршруту, который знал наизусть, в одном и том же темпе и с наушником, который не вынимал даже в душе — на всякий случай, если позвонят из другого часового пояса.

Понедельник, семь утра, середина октября. Парк ещё не проснулся. На пруду лежал белый пар, у лодочной станции дремал сторож в куртке поверх куртки, а берёзы на главной аллее стояли такие жёлтые, будто их подсветили для рекламы. Восемь километров: два круга вокруг пруда, потом липовая аллея до чугунной ограды и обратно. Пять минут двадцать секунд на километр. Константин не любил сюрпризы на дистанции — ни в беге, ни в жизни.

— Площадка хорошая, — говорил в наушнике Лев. Лев работал с ним девять лет и до сих пор начинал любой разговор с хорошего, как врач перед диагнозом. — Здание собственное, программа на сезон свёрстана, долгов почти нет. Директор толковый.

— Но.

— Но с деньгами у них, как у всех культурных людей. Идей много, смет мало.

— Культурные люди считают, что спрашивать про смету неприлично. Как про возраст.

— Поэтому их и надо спросить. — Лев зашуршал бумагами. — Тебя зовут на превью в следующий вторник. Групповая выставка, куратор штатный. Сходи, посмотри, как они работают, когда думают, что на них смотрят деньги.

— Час.

— Хотя бы час.

— Сорок минут. — Константин обогнал пожилую пару с палками для скандинавской ходьбы. Пара шагала синхронно, как гвардейский караул, и ему это понравилось: люди, которые сорок лет ходят в ногу, обычно не врут друг другу о деньгах. — Пришли мне их отчётность за два года. Не презентацию. Отчётность.

— Уже в почте.

Аллея повернула, и справа, с боковой дорожки, на неё выбежала женщина.

Сначала Константин увидел только движение. Ровное, неспешное, без того старательного подпрыгивания, которым отличаются люди, начавшие бегать по понедельникам. Потом рассмотрел остальное. Серый спортивный костюм, не новый, без единого логотипа. Обычные кроссовки, правильно разношенные. Тёмные волосы собраны в хвост, лицо без косметики, чуть розовое от холода. Никакого телефона в вытянутой руке, никакой камеры на палке, никакого светового кольца — а в этом парке он однажды видел и кольцо, и девушку, которая бежала ровно три метра, разворачивалась и бежала эти три метра снова, пока подруга не скажет «дубль».

Эта бежала по-настоящему. И говорила по телефону через гарнитуру, не сбивая дыхания.

Константин сам не заметил, как сбросил темп.

Он не собирался знакомиться. Во всяком случае, не собирался в том смысле, в каком это слово понимает Лев, когда говорит «тебе пора». Но иногда в жизни попадает вещь, сделанная правильно, без лишнего, и на неё просто хочется посмотреть ближе: хороший шов, точный механизм, честно сваренный кофе. Женщина в сером костюме выглядела именно так. Он подумал, что можно поравняться и сказать что-нибудь простое, про туман над прудом. Он даже знал, что именно скажет.

Он поравнялся.

Ему понадобилась секунда, чтобы всё изменилось.

В ушах у неё горели камни. Не блестели, а именно горели, собирая в себя тусклый октябрьский свет и возвращая его белым. Каратов на бегу не сосчитаешь, и Константин не стал бы делать вид, что умеет. Но такой холодный белый огонь он видел в витринах, где не выставляют ценников, и был почти уверен, что с бижутерией его не спутал бы. Крупные. Скорее всего, настоящие. И надеты так буднично, будто это часы, а не серьги.

Цифра появилась в голове сама, как появлялась всегда, когда он видел дорогую вещь. Приблизительная, но достаточная: машина. Не самая скромная. В семь утра. В сером костюме за небольшие деньги.

И сразу же, без паузы, как вторая строка в таблице, появился вывод.

Папина дочка. Костюм простой, потому что ей нечего доказывать: всё доказано за неё. Такие девушки не ищут сумку подороже — у них она уже есть, и не одна. Они говорят «мне не нужны твои деньги» совершенно искренне, потому что им действительно не нужны деньги. Им нужно, чтобы жизнь продолжала быть такой, к какой их приучили. А это обходится дороже любых денег.

— ...нет, только тёплый свет, — сказала женщина в гарнитуру, когда он поравнялся с ней. — Иначе будет как в операционной, и все решат, что это больница, а не...

Ремонт, понял Константин. Новая квартира. Свет выбирает.

Он прибавил. Обошёл её по внешней стороне аллеи, не оглядываясь, и через двести метров уже снова держал свои пять двадцать.

— Ты чего замолчал? — спросил Лев.

— Видел, как выглядят деньги, которые не заработаны.

— В семь утра? Где?

— В ушах.

Лев рассмеялся — коротко, по-деловому, как смеются люди, которым пора на совещание.

— Опять ты за своё. Помнишь парня с конференции, которого ты вычислил по часам?

— Он оказался банкротом.

— Один раз. А тот, что был до него, оказался сыном министра.

— Тоже банкротом, просто позже, — сказал Константин. — Пришли отчётность. Я буду через сорок минут.

Он не обернулся. Зачем? Всё, что нужно, он уже увидел.

Позади, на липовой аллее, она всё так же ровно бежала и спорила с кем-то о свете.

* * *

Дома Константин снял часы и положил их на край раковины, циферблатом вверх.

Обычная на вид стальная модель на чёрном каучуковом ремешке. Без камней, без золота, без надписи, которую можно прочитать с другого конца комнаты. В парке ему никто не дал бы за них и десятой доли настоящей цены — и его это устраивало. Часы сделал небольшой независимый мастер, который выпускал несколько сотен экземпляров в год. Те, кто разбирается, узнавали их с одного взгляда. Остальные не узнавали вообще. Константину нравилось именно это: вещь, которая не кричит, а ждёт, пока её поймут.

Отчётность центра искусства уже лежала в почте. Константин открыл её на кухне, пока варился кофе, и прочитал так, как другие читают детектив: с конца. Аренды нет — здание в собственности, это хорошо. Зарплаты маленькие, это плохо для людей и хорошо для смет. Кафе обещали открыть ещё весной и до сих пор не открыли. В приложении к отчёту — программа сезона: открытие в четверг, лекции, групповая выставка «Тихий шум», декабрьский благотворительный вечер, весенние проекты «в разработке».

Под названием выставки мелким шрифтом стояло: «Куратор — Мия...» — и фамилия, которую он пролистал, не задержавшись. Кураторы его не интересовали. Его интересовало, почему кафе, которому полагалось кормить посетителей с весны, в октябре всё ещё стоит в лесах.

Он написал Льву: «Кафе. Узнай, кто подрядчик и почему год тянут».

Подумал и добавил: «И что за весенние проекты. Не люблю слово „в разработке“. Обычно им прикрывают слово „денег нет“».

Кофе убежал. Константин выключил плиту, вытер плиту, налил то, что осталось, и выпил стоя, глядя в окно, где за крышами угадывался тот самый парк. На секунду он снова увидел серый костюм, хвост, ровный шаг. А потом — два белых огня в ушах. Жаль, подумал он. Хорошо бегала.

* * *

Мия его не заметила.

Точнее, заметила то, что замечает любой бегун: кто-то обогнал её слева, слишком близко и слишком быстро, как обгоняют на трассе водители, которым нужно доказать что-то не тебе, а себе. Она отметила это краем глаза и тут же забыла, потому что Гоша на другом конце провода в третий раз пытался убедить её, что холодный свет «современнее».

— Гоша, современнее — это не аргумент. Это прилагательное.

— Мия, ну правда, сейчас все так вешают.

— Все так вешают, потому что все покупают одни и те же лампы. У нас на дальней стене графика. Бумага. Ей нужно около пятидесяти люкс, а не прожектор. Свет для бумаги копится, как загар: за одну выставку ничего не видно, а через несколько лет на листе выгорает прямоугольник. Художник нас, может, и простит. Владелец — нет.

— Пятьдесят — это же темно.

— Это не темно. Это бумаге столько можно. Глаз через пару минут привыкнет. Для холстов на торцевой ставь сто пятьдесят — двести, там масло, ему можно больше. И тёплый, около трёх тысяч кельвинов.

Гоша вздохнул так, будто она отняла у него не свет, а молодость, и пообещал переставить к обеду.

Мия добежала до чугунной ограды, развернулась и пошла домой шагом, остывая. Дом стоял у самого парка: старый, тяжёлый, с высокими окнами. Она жила здесь третий год и до сих пор не могла привыкнуть, что из спальни видно пруд. Родители говорили, что это «удобно». Мия считала, что это слишком хорошо, чтобы быть только её заслугой, и старалась об этом не думать.

Под душем она по привычке коснулась мочки уха — проверить закрутку. Серьги были на месте. Они всегда были на месте.

Через сорок минут она выходила из дома в рабочем: чёрные широкие брюки, белая рубашка с закатанными рукавами, плоские ботинки, в которых можно восемь часов стоять на стремянке и ещё столько же — на открытии. Волосы — тот же хвост. Серьги — те же серьги. Кофе — на ходу, в термокружке с отбитым краем, которую она не меняла из суеверия: с этой кружкой у неё не сорвалась ни одна выставка.

На лестнице телефон пискнул. Отец.

«Как выставка? Если нужно что-то решить — скажи, я позвоню».

Мия остановилась на ступеньке. Отец умел «позвонить» так, что вопросы, которые она решала неделями, решались до обеда. Именно поэтому она давно перестала ему говорить, какие вопросы решает.

«Всё хорошо, — написала она. — Сама».

Подумала и добавила сердечко, чтобы «сама» не прозвучало как ультиматум.

* * *

Галерея занимала два этажа старого здания, где когда-то была типография, а теперь предполагался центр искусства: галерея, лекторий, кафе на первом этаже и вечные строители, которые доделывали это кафе к открытию культурной программы в четверг. В зале на втором этаже пахло свежей краской, пылью и деревом. До превью оставалось восемь дней, и выставка под

рабочим названием «Тихий шум» пока больше напоминала склад: работы стояли вдоль стен в мягкой упаковке, как пациенты в коридоре.

Семь художников. Сорок две работы. Одна стена, которая никак не хотела складываться.

— Выше, — сказала Мия, не поднимая головы от плана. — Нет. Ниже. Ещё. Стоп.

Монтажник Юра опустил раму и посмотрел на неё с надеждой.

— Мия, может, на глаз?

— На глаз у всех разный рост. Центр работы — около ста сорока пяти от пола. Это не я придумала, так часто вешают в музеях: чтобы человек среднего роста смотрел в середину, а не в раму.

— А если человек высокий?

— Высокий человек немного наклонит голову. Ему полезно.

Юра хмыкнул и потянулся за уровнем.

У окна, на складном столе, среди банок с саморезами и рулонов малярного скотча, сидела Эрика с распечатками этикеток. Эрика консультировала культурную программу центра: лекции, тексты, работу с лекторами. На выставку её никто не звал, она пришла сама, потому что, как она выразилась, «нельзя отдавать тексты на произвол художников».

— Послушай, — сказала она, не поднимая головы. — «Работа исследует пограничные состояния телесности в контексте постцифровой уязвимости». Это про что?

— Про женщину, которая заснула в метро, — сказала Мия. — Там на холсте женщина спит в вагоне.

— Тогда давай так и напишем.

— Художник обидится.

— Художник обидится, а зритель поймёт. — Эрика взяла карандаш и аккуратно вычеркнула строчку. Писала она мелко, ровно, как человек, привыкший, что его текст будут читать внимательно. — Этикетка не для того, чтобы показать, какой умный куратор. Она для того, чтобы человек в куртке, который зашёл погреться, задержался у работы ещё на минуту.

— Ты сейчас процитировала меня.

— Я знаю. Ты это говорила в прошлом году. Просто сама перестала так писать.

Мия засмеялась. С Эрикой было легко спорить: та никогда не повышала голос и никогда не уступала, если была права. Мия знала её около года — по проектам, по случайным кофе между монтажами, по одному долгому вечеру, когда они вдвоём спасали лекцию с застрявшим в аэропорту лектором. И за этот год Мия поймала себя на том, что почти ничего не знает о её жизни до этого центра. Эрика умела разговаривать так, что ты рассказывала о себе всё, а уходила, не узнав о ней ничего.

В зал заглянул фотограф центра — снять «рабочий процесс» для соцсетей. Эрика, не прерывая правки, пересела так, чтобы оказаться спиной к объективу.

— Ты не фотогенична? — спросил Юра со стремянки.

— Я неинтересна, — сказала Эрика. — Снимайте Мию. Она красиво командует.

Через полчаса она собрала этикетки и ушла вниз, к принтеру, пообещав вернуть «женщину в метро» на человеческий язык.

Мия любила этот этап больше самого открытия. Открытие — это вежливые лица, бокалы, фотограф и один и тот же вопрос: «А что хотел сказать художник?» А монтаж — это когда работы впервые оказываются рядом и начинают разговаривать друг с другом. Иногда спорить. Иногда перебивать. Хорошая развеска — не украшение стен. Это порядок, в котором зритель услышит разговор, а не крик. Мия однажды попыталась объяснить это отцу, и отец ответил: «То есть ты, в сущности, рассаживаешь гостей». Обиднее всего было то, что он был прав.

— Мия, — позвали снизу. — Вас Вадим Петрович ищет.

Директор центра стоял на лестнице, держался за перила одной рукой, а другой прижимал к груди папку. Вадим Петрович всегда что-то прижимал к груди: папку, планшет, чужое пальто. Казалось, если однажды у него ничего не окажется в руках, он растеряется и упадёт.

— Как стена?

— Стена думает, что она главная, — сказала Мия. — Я ей объясняю, что нет.

— Хорошо. То есть плохо. То есть... — Он поднялся на две ступеньки и понизил голос, хотя в зале, кроме них, был только Юра на стремянке. — Мия, во вторник на превью будет человек.

— На превью всегда бывают люди. В этом, собственно, и смысл.

— Особенный человек. Потенциальный партнёр. Инвестор. Константин... — Директор замялся. — Фамилию не скажу, вы её всё равно не знаете, вы же не читаете деловую прессу.

— Не читаю.

— Вот. Он смотрит, вкладываться ли в центр. Не в выставку — в центр целиком. Кафе, лекторий, весенние проекты. — Вадим Петрович посмотрел на неё значительно, и Мия поняла, что под «весенними проектами» он имеет в виду и её собственную выставку, ту, о которой она пока говорила только с ним и с черновиком концепции в ноутбуке. — Если он уйдёт довольным, у нас будет весна. Если нет...

— Будет весна без нас.

— Будет очень скромная весна.

Мия отхлебнула остывший кофе из кружки с отбитым краем.

— И что я должна сделать? Повесить работы ровнее, чем обычно?

— Провести его по залу лично. Рассказать. Вы рассказываете лучше всех. Только имейте в виду: говорят, он решает быстро. За секунду.

— За секунду, — повторила Мия.

— Так говорят. Сам я видел его один раз, на фуршете, полминуты.

— И что он решил про вас за эти полминуты?

— Что я ем тарталетку, — честно сказал директор. — Больше ничего не успел.

— Значит, у меня тоже будет полминуты. — Мия поставила кружку на ступеньку. — Могу надеть мешок из-под картошки. Сразу поймёт, что выставка бюджетная.

— Мия.

— Шучу. Надену чёрное. Как всегда.

— Почему вы, кураторы, всегда в чёрном? — с тоской спросил Вадим Петрович. — Я двадцать лет хожу на открытия и до сих пор не понимаю. Как на похоронах.

— Потому что на открытии главное — работы. Человек в красном платье рядом с картиной спорит с картиной. Человек в чёрном просто стоит рядом и не мешает. Это не траур, это рабочая форма. Как у официантов.

— Официанты хотя бы улыбаются.

— Я тоже буду улыбаться. Если будет повод.

Директор вздохнул и переложил папку под другую руку.

Мия посмотрела на стену, которая думала, что она главная. На работы, стоящие в упаковке вдоль плинтуса. На Юру, который снова поднимал раму, сверяясь с уровнем, потому что ему было не всё равно, где окажется середина чужой картины. Восемь дней работы, а кому-то хватит одной секунды.

— Юра, — сказала она. — Снимай «Конечную». Перевешиваем ко входу.

— Женщину в метро? — Юра посмотрел на неё сверху. — Мы же её в конец хотели. Чтобы, ну... конечная.

— Передумала. Пусть встречает.

— Зачем? — спросил директор.

— Я третий день мучаюсь со входом. Там сейчас самая громкая работа, и после неё все остальные шепчут. А эта учит смотреть медленно. Сначала видишь просто спящую женщину. Потом замечаешь, что вагон пустой. Потом — что за окном не тоннель, а утро. — Мия подняла со ступеньки кружку с отбитым краем. — С неё и надо начинать. Всем.

— И ему?

— И ему. Он ничем не лучше человека в куртке, который зашёл погреться.

— А если он всё равно решит за секунду?

— Тогда, Вадим Петрович, ему придётся объяснить мне, что он увидел. При свидетелях.

Глава 3. Дело не в платье

Первое свидание начинается задолго до первой реплики.

Бейджи лежали в коробке из-под конфет, ровными рядами, как пирожные в витрине, и тот, что с краю, Маша положила лицом вниз.

Четверг, без двадцати шесть. До открытия культурной программы оставалось час двадцать. Внизу, в кафе центра, строители выносили последние стремянки через служебный вход, а в фойе уже настраивал микрофон звукорежиссёр — тот самый, вечно простуженный, который говорил «раз-раз» таким голосом, каким сообщают о смерти близкого.

Маша раздавала бейджи. Елене Фоминой — администратор площадки. Даниилу Кротову — техническая группа. Ольге Сизовой — регистрация. Себе она прикрепила свой ещё дома, перед зеркалом в прихожей, и полчаса не могла решить, на какую сторону. Справа — так обычно советуют на деловых приёмах: протягиваешь правую руку, и взгляд собеседника сам скользит к имени. Слева — ближе к сердцу. Она выбрала правую сторону и почувствовала себя почти честной.

Для открытия Маша надела чёрный брючный костюм, который давно жил у неё в шкафу под названием «на случай, если позовут в приличное место». Дресс-код на вечере стоял «коктейль», но для персонала это значило другое: выглядеть так, чтобы гости понимали, к кому обратиться, и при этом не путали тебя с гостей. Каблук — невысокий, потому что за вечер координатор проходит больше, чем курьер. Волосы — убраны, потому что распущенные волосы на работе цепляются за всё, от микрофонной стойки до чужих пуговиц.

Сумка висела у неё на плече. Оставить её в подсобке Маша не смогла: в подсобке не было замка, зато были строители.

— Соколова.

Агата стояла у лестницы — в чёрном платье-футляре, с теми же серебряными палочками в ушах и с телефоном, на экране которого светилась таблица рассадки. Говорила она негромко, но так, что вокруг сразу становилось тише.

— Подойди.

Маша подошла. Агата посмотрела на бейдж. Читала она его дольше, чем требовалось для пяти букв.

— Мне нужно объяснение или ты сама его снимешь?

— Это... — Маша вдруг поняла, что за четыре дня так и не придумала, что это. — Это для одного гостя.

— Гости приходят и уходят, — сказала Агата. — А на бейдже у сотрудника имя, по которому его ищет охрана, если что-то случится. По которому ему звонит подрядчик и пишет бухгалтерия. На работе — как в паспорте.

Она открыла свою папку, достала оттуда бейдж в держателе и протянула Маше. «Мария Соколова, координатор гостей».

— Ты его напечатала заранее? — растерялась Маша.

— Я всегда печатаю второй комплект. Люди теряют бейджи. Иногда — себя. — Агата забрала «Марту» и, не глядя, убрала в папку. — Поговорим потом. Сейчас у тебя сорок гостей на регистрации и кафе, которое открывается сегодня впервые. Иди.

Маша пошла. Лицо горело, как после получаса у раскалённой плиты. Самое неприятное было в том, что Агата не сказала ничего обидного. Совсем ничего.

* * *

Гости начали съезжаться в семь. Центр искусства в этот вечер выглядел так, словно его только что распаковали: свежая краска, новые лампы в фойе, запах дерева от лестницы, по

которой всего неделю назад ходили в грязных сапогах. Директор центра, Вадим Петрович, встречал гостей у входа и прижимал к груди программку, как первенца.

Маша работала. Улыбалась, сверяла фамилии, отправляла фотографа к спонсорам, а дальнюю родственницу одного из меценатов, которая пыталась пройти без приглашения, — к Ольге, у которой был талант отказывать так, что люди уходили довольными. Это была её стихия. Она знала, кто из гостей не выносит фотовспышку, кому нельзя ставить бокал справа, потому что он левша и обязательно его опрокинет, и в какой момент нужно подхватить пожилую даму под локоть, чтобы та не поняла, что её подхватили.

В семь двадцать её поймала Эрика.

Эрика консультировала программу центра. Маша знала её по паре прошлых мероприятий и каждый раз ловила себя на одном и том же чувстве: рядом с Эрикой хотелось выпрямить спину. Эрика никогда не выглядела нарядной. Сегодня на ней было простое тёмно-синее платье, никаких украшений, кроме тонких часов на кожаном ремешке. Но держалась она так, будто давно знала всех присутствующих и успела простить им всё.

— Лекция в девять в силе? — спросила Эрика. — Лектор доехал?

— Доехал. Сидит в гримёрке и пьёт чай с лимоном. Сказал, что без лимона не читает.

— У всех свои ритуалы, — сказала Эрика.

И в этот момент из фойе донеслось:

— Марта!

Голос был негромкий, но поставленный, такой, каким в старых театрах говорили со второго ряда партера, не напрягаясь. Савелий Андреевич шёл к ней через фойе, опираясь на трость больше для красоты, и улыбался, как человек, нашедший в ящике давно потерянную запонку.

— Я же обещал, что найду. Видите — нашёл.

На бейдж он не посмотрел. Маша сразу поняла почему: Савелий Андреевич был без очков и смотрел на людей, как смотрят на картины — немного издалека, чтобы видеть целое.

— Добрый вечер, Савелий Андреевич. Рада вас видеть.

Краем глаза она видела Агату. Агата стояла в пяти шагах, у стола регистрации, и не поворачивала головы. Это было хуже, чем если бы повернула.

Эрика тоже не повернула головы. Она просто посмотрела на бейдж — «Мария Соколова», — потом на Машино лицо, и ничего не сказала. Ни вопроса, ни улыбки, ни поднятой брови. Только чуть отступила, чтобы не мешать разговору, и Маша почему-то почувствовала к ней огромную благодарность.

— Пойдёмте, я покажу вам, где будет лекция, — сказала Маша Савелию Андреевичу и повела его к лестнице, подальше от регистрации, от Агаты и от собственного бейджа.

На лестнице он шёл медленно, и Маша приготовилась поддерживать разговор. Неделями она собирала фразы для таких минут — про последнюю биеннале, про то, что «в этом сезоне все говорят о керамике», про вино, о котором она читала и которого никогда не пила. Она открыла рот, чтобы сказать что-нибудь про керамику.

— А вам самой здесь нравится? — спросил Савелий Андреевич раньше. — Не как сотруднику. Как человеку.

Керамика осталась невысказанной. Маша подумала секунду и честно ответила:

— Мне нравится лестница. Её неделю назад никто не любил, она была вся в цементе. А сегодня по ней идут люди в хороших туфлях и даже не знают, что ей пришлось пережить.

Савелий Андреевич остановился и посмотрел на ступени с уважением.

— Вот это и есть светский разговор, Марта, — сказал он. — Не про биеннале. Про то, что человек на самом деле заметил.

На площадке второго этажа он подвёл её к пожилой даме в сером жемчуге и сказал, слегка наклонив голову к даме: «Лидия Аркадьевна, позвольте вам представить: Марта, чело-

век, который спас вчера — нет, в субботу — юбилей Ильи Марковича». Маша отметила про себя: всё как принято — младшую представляют старшей, а не наоборот. Савелий Андреевич знал, как это делается, и делал это так, что правило становилось незаметным.

Дама протянула руку, улыбнулась и сказала, что слышала про яхту. Вот так, подумала Маша, история про торт уже живёт без неё — и в этой истории её зовут Марта.

* * *

— А теперь, — сказал Савелий Андреевич, — я вас похищу на пять минут. У меня внизу компания, которой срочно нужен живой человек.

— Савелий Андреевич, я на работе...

— Вот и прекрасно. Значит, будете работать с нами.

Отказать человеку, который час назад назвал тебя по имени через всё фойе, оказалось невозможно. Маша спустилась за ним в кафе, где сегодня впервые открыли стойку, где пахло свежемолотым кофе и деревом от новых столов.

Компания стояла у окна. Лидия Аркадьевна, успевшая спуститься раньше на лифте. Плотный господин с бородкой и бокалом красного, который он держал за ножку так бережно, будто нёс в нём собственную репутацию. И мужчина в тёмном пиджаке без галстука, со стаканом воды. Он стоял чуть в стороне от остальных — не из гордости, а с видом человека, который пришёл на чужой праздник по обязанности и честно ждёт, когда можно будет уйти.

— Геннадий Львович, — представил Савелий Андреевич господина с бородкой. — Знает о вине больше, чем само вино. Всеволод — человек, благодаря которому это кафе вообще может кого-то кормить: его компания ставила здесь кухню. А это Марта. Если в этом городе что-то пойдёт не так, звоните ей.

Всеволод кивнул. Взгляд его скользнул по её лицу, по бейджу на лацкане, по сумке — и вернулся к лицу. Маше показалось, что на бейдже он задержался на полсекунды дольше, чем на сумке. Она решила, что показалось.

— Марта, — с удовольствием повторил Геннадий Львович и приподнял бокал к свету. — Вы же наверняка разбираетесь. Скажите нам, что у нас здесь.

У Маши было ровно три секунды. В голове послушно раскрылась страница светского журнала, который она конспектировала две недели назад в метро: «Бургундия», «терруар», «благородные танины». Она улыбнулась той улыбкой, которую репетировала дома, и произнесла уверенно, почти нараспев:

— Бургундия. Каберне. У него такой характерный терруар.

Наступила пауза. Короткая, вежливая — такая, в которой за соседним столиком звякает ложечка.

— Милая, — ласково сказал Геннадий Львович, и в этом «милая» было столько удовольствия, что Маша почувствовала его кожей. — Красная Бургундия — это почти всегда пино нуар. А каберне совиньон — главный герой Бордо, это другой конец Франции. А у нас в бокале, кстати, вообще испанское.

Лидия Аркадьевна деликатно занялась своим жемчугом. Савелий Андреевич смотрел с интересом, как зритель, который не знает, комедия это или драма. Всеволод отпил воды.

Маша почувствовала, как горят уши. Можно было сделать вид, что пошутила. Можно было сказать что-нибудь про испанское, но про испанское в журнале ничего не было. Она вспомнила лестницу. Про то, что человек на самом деле заметил.

— Видите, — сказала она, — я честно готовилась. Но, похоже, журнал был про Бордо, а я думала, что про Бургундию. — Она повернулась к Геннадию Львовичу. — А вы как научились отличать? Не по журналу же.

Это был не приём. Ей правда было интересно, как человек отличает одно красное от другого, если оба красные.

Геннадий Львович растерялся. Похоже, вопрос о том, как он научился, а не о том, что он знает, ему не задавали давно. Он отставил бокал, разгладил бородку и вдруг рассказал — без всякой важности — про студенческую практику во Франции, про виноградник под Боном, где он полтора месяца собирал виноград за еду и койку, про хозяина, который бил его по рукам, если он срывал гроздь вместе с листьями. Про то, что пино нуар — капризный сорт, он любит холод и тонкую кожу, а каберне — толстокожий, ему всё нипочём.

— Как люди, — сказала Лидия Аркадьевна.

— Как люди, — согласился Геннадий Львович и впервые за вечер засмеялся по-настоящему.

Маша слушала и запоминала — не для разговора, а потому что было интересно. Пино нуар — тонкокожий. Каберне — толстокожий.

И в этот момент молодой официант с подносом, обходя Нину Аркадьевну, задел локтем бокал Геннадия Львовича. Несколько капель испанского красного упали на белоснежную манжету.

— Ну что ж вы!.. — Геннадий Львович развернулся всем корпусом, и вся теплота воспоминаний о Боне слетела с него, как плащ. — Смотреть надо, куда идёшь! Ты знаешь, сколько стоит эта рубашка?

Мальчик-официант стоял с подносом и молча краснел. Ему было лет девятнадцать, это был его второй вечер, Маша знала его по имени — Тёма.

— Геннадий Львович, — сказала она прежде, чем успела подумать. — Это моя вина, я не предупредила ребят, что у окна будет тесно. Тёма, принеси, пожалуйста, содовую и чистую салфетку. Промокнуть, не тереть — может, хоть немного поможет до химчистки. — Она снова повернулась к гостю. — А химчистку оплатит агентство. Только не говорите мне цену рубашки, я и так сегодня уже опозорилась с каберне.

Геннадий Львович оглядел её, манжету, Тёму, который уже бежал за содовой. Пыхтение в нём ещё боролось с воспоминаниями о винограднике. Виноградник победил.

— Ладно, — проворчал он. — Химчистку не надо. Это всего лишь рубашка.

Савелий Андреевич тихо, одними губами, сказал Маше: «Браво».

Агата появилась у неё за плечом через минуту. Не громко, не сердито, просто встала рядом и сказала голосом, которым сообщают расписание поездов:

— Мария, на регистрации нужна твоя подпись по спискам. Простите, господа, похищаю.

Маша извинилась перед компанией и пошла за ней. Уже у лестницы Агата сказала, не поворачивая головы:

— Химчистку пообещала правильно. Остальное — завтра.

* * *

Всеволод допил воду и поставил стакан на подоконник.

На этот вечер он не собирался. Директор центра позвонил три раза и сказал, что «невежливо не прийти, когда кафе открывается на вашей кухне», и Всеволод, которому было проще прийти, чем объяснять, почему не хочется, пришёл. Минут сорок он отвечал на вопросы Геннадия Львовича о том, сколько стоит «вот такой холодильник» и нельзя ли со скидкой для своих. Ещё полчаса смотрел в окно.

А потом Савелий привёл эту девушку.

Он сразу узнал сумку. Медово-песочная, тиснёная кожа, узнаваемый силуэт. Всеволод не особенно любил дорогие вещи, но разбирался в них, как разбирался во всём, что стоит денег: его компания поставляла оборудование в рестораны, где такие сумки висели на каждом втором стуле, и он давно научился их различать — так же, как различал на слух исправный компрессор и умирающий. Сумка стояла примерно как хорошая профессиональная кофемашина. Не на зарплату координатора.

Значит, деньги у неё свои. Семья, наследство, что-то ещё — неважно. Девушке с такими деньгами незачем в четверг вечером работать на чужом открытии, сверять списки и вытаскивать официанта из-под гнева Геннадия Львовича. А она работает. Значит, хочет.

Потом он прочитал бейдж. «Мария Соколова, координатор гостей». А Савелий называл её Мартой, и она откликалась.

Имя на бейдже — одно, имя для Савелия — другое. Интересно. Может, Мария не хочет, чтобы на работе знали, чья она дочка. А может, «Марта» — это что-то вроде домашнего имени для старых друзей семьи. Бывает.

Но зацепило его другое. Каберне.

Всеволод видел много людей, которые ошибались при свидетелях. Большинство начинали спорить или обижались на того, кто поправил. А она просто признала, что журнал был не тот, — и задала Геннадию Львовичу единственный вопрос, на который тот не мог ответить свысока. Через минуту самый занудный человек в зале рассказывал про виноградник и смеялся.

Последнее свидание, на которое его уговорили друзья, закончилось на парковке: девушка сначала сфотографировала его машину, потом его часы и только потом — меню. Она была милой и очень старалась. Но весь вечер Всеволод чувствовал себя оборудованием на выставке, у которого спросили цену и технические характеристики, а включать не собирались.

Эта не спросила его ни о чём. Ни о машине, ни о часах, ни о том, сколько стоит «вот такой холодильник». Ей было интересно, как Геннадий Львович научился отличать вино.

Всеволод поймал себя на том, что улыбается в окно. Женщины, которым от него ничего не нужно, встречались ему так редко, что он давно перестал в них верить.

Спрашивать про бейдж он не стал. В конце концов, у всех свои причины.

* * *

Лекция прошла хорошо. Гости хвалили кафе, а Вадим Петрович прижимал к груди программку и сиял, как орденосец.

После лекции Эрика задержалась возле Маши у гардероба, пока гости разбирали пальто. Помогла найти чужой зонт, отдала номерок пожилому господину, который трижды уверял, что сдавал шляпу, а не плащ. Потом сказала, глядя не на Машу, а на вешалки:

— Я слышала про каберне.

— Весь вечер теперь будут слышать.

— Весь вечер будут слышать про рубашку и химчистку. Это запоминается лучше. — Эрика застегнула пальто и добавила так же спокойно: — Имена — как туфли, Маша. Главное, чтобы не натирали.

И ушла, не дожидаясь ответа.

Телефон в кармане коротко дрогнул. Агата: «Завтра в десять. Про бейдж». Без смайлика и без точки в конце — точку Агата ставила, только когда была спокойна.

Маша вышла на служебное крыльцо в десять минут одиннадцатого — просто постоять минуту на холодном октябрьском воздухе. Ноги гудели. В голове гудело. Где-то в папке у Агаты лежал бейдж «Марта», и разговор «про бейдж» ещё только ждал её завтра в десять.

На крыльце стоял Всеволод. Пил чай из картонного стакана, который, судя по запаху, выпросил у кейтеринга.

— Пино нуар, — сказал он вместо приветствия. — Тонкокожий.

— Каберне — толстокожий, — ответила Маша. — Я запомнила. Теперь я опасна.

Он засмеялся. Смеялся он громко и коротко, как человек, который не стесняется, что ему смешно.

— Я в вине понимаю ещё меньше, чем вы, — сказал он. — Честно. Я сорок минут слушал, сколько Геннадий Львович хочет скидку на холодильник, и ни разу не догадался спросить его про виноградник.

— Вы бы и не спросили. Вы же продаёте холодильники, а не слушаете.

— Справедливо.

Маша вспомнила все заготовленные фразы, которые неделями собирала по журналам и чужим разговорам. Про то, что в этом сезоне все едут в Марракеш. Про современное искусство. Про вина Бургундии, которые теперь были для неё навсегда испорчены. Ни одна не подходила к служебному крыльцу, картонному стакану и человеку, который почему-то не уходил.

Он смял стакан, бросил его в урну у двери и спустился на одну ступеньку. Обернулся.

— Вы любите хорошие рестораны?

Маша мысленно выпрямила спину: вот оно. Вот так это и начинается. Ресторан, вечернее платье, бокал, свечи — и на этот раз она выучит про испанское. Она уже открыла рот, чтобы сказать что-нибудь лёгкое и светское, но он её опередил:

— А то я не люблю. В хороших ресторанах я всё время смотрю, какое у них оборудование. Не могу отключиться. Так что если вы не против — не ресторан.

— А что?

— Не в эту субботу и не в следующую. Первого ноября. Утром. Без вечерних нарядов. — Он посмотрел на неё снизу вверх, с последней ступеньки, и в его лице было что-то такое, отчего она не смогла сразу ответить. — И, Марта...

Он произнёс имя спокойно, как обычное слово. Только на долю секунды задержался перед ним, будто проверял, выдержит ли оно вес.

— Удобную обувь.

Глава 4. Три секунды на человека

Исправить человека легче, чем понять его.

За сорок минут до превью Мия в третий раз поправила этикетку у «Конечной» и в третий раз поняла, что поправлять там нечего.

Эрика сдержала слово: вместо «пограничных состояний телесности» на белой табличке теперь значилось простое «Женщина засыпает в пустом вагоне. Художник ехал этим поездом каждое утро четыре года». Художник, прочитав, обиделся на полдня, а потом прислал Мие голосовое: «Знаешь, а ведь правда четыре года». Мия считала это главной победой недели.

«Тихий шум» был готов. Сорок две работы висели на своих местах, центр каждой на ста сорока пяти. Гоша поставил свет, как просили: тёплый, приглушённый над графикой, чуть ярче над маслом. Юра натёр пол до такого блеска, что в нём отражались лампы, и ходил по залу на цыпочках, как по катку, который сам залил.

Мия стояла в чёрном. Чёрные брюки, чёрная шёлковая рубашка, плоские туфли — после пяти часов на ногах никакие каблуки не выдерживают чужих вопросов. Волосы распущены — единственная уступка вечеру. Серьги — те же.

Когда ей было лет девять, отец взял её с собой в большой музей в чужом городе. Он приехал туда на переговоры и прихватил дочь, чтобы та «посмотрела мир». Мир Мия запомнила плохо. Запомнила зал с огромными холстами, экскурсовода в мягких туфлях и отца, который через десять минут спросил: «А вот эта сколько может стоять?»

Экскурсовод очень спокойно ответил: «Она не продаётся».

Отец засмеялся, сказал «всё продаётся» и пошёл дальше. А Мия осталась стоять перед картиной. Её поразило не полотно — какие-то лодки, вода, — а то, что на свете есть вещи, о которых нельзя спросить «сколько». Двадцать с лишним лет спустя она работала в мире, где этот вопрос всё равно задавали первым. Но она хотя бы стояла по другую сторону от него.

Внизу агентство, которое обслуживало вечер, раскладывало бокалы. Мия видела их в окно лестничного пролёта: высокая женщина в чёрном платье-футляре негромко распоряжалась, а молодая, с медово-песочной сумкой на плече, бегала между столиками с планшетом. Мия подумала, что у этой молодой очень хорошая сумка и очень усталые глаза, и тут же забыла об этом, потому что позвонил Гоша и спросил про дальнюю лампу.

Высокая женщина в чёрном поднялась к ней за пять минут до открытия — с планшетом, без улыбки и без суеты.

— Агата, агентство, — сказала она. — Речь директора когда? До шампанского или после?

— После. Если до, он будет говорить сорок минут, а все — смотреть на поднос.

— Разумно. — Агата что-то отметила в планшете. — Фотограф у вас один?

— Один. И он снимает работы, а не гостей. Кто хочет себя — пусть снимает сам.

Агата впервые подняла на неё глаза.

— Вы мне нравитесь, — сказала она таким тоном, каким сообщают, что машина подана. — Обычно кураторы на открытии хотят, чтобы снимали их самих.

— Обычно кураторы не монтируют сами, — сказала Мия. — После восьми дней на стрейнжанке сниматься уже не хочется.

Агата сделала пометку и ушла вниз. Мия проводила её взглядом и подумала, что с такой женщиной было бы спокойно сорвать любое открытие: она бы просто молча собрала его заново.

Через минуту по лестнице поднялась та самая девушка с медово-песочной сумкой и молча поставила на подоконник рядом с Юрой стакан воды и тарелку с двумя тарталетками.

— Вы с обеда не ели, — сказала она Юре. — Я видела. Гости не заметят, если монтажник съест две тарталетки.

Юра покраснел и съел обе, пока она спускалась обратно. Мия запомнила её — не по сумке, а по тарелке.

Первые гости всегда приходят на десять минут раньше и всегда смущаются, что пришли первыми. Мия любила их больше всех: они приходили смотреть, а не показываться.

К восьми зал был полон.

* * *

— Вот это, конечно, сразу видно — Моне!

Голос принадлежал господину в бархатном пиджаке цвета спелой сливы. Господин стоял у большой работы на торцевой стене и указывал на неё бокалом так уверенно, будто только что лично её купил.

Работа называлась «Стойка». Молодая художница написала маслом женщину-бармена в ночном кафе: та стоит за стойкой, уставшая, с прямой спиной, а в огромном зеркале за её спиной отражается полный зал, который на неё не смотрит. Это была откровенная перекличка с одной из самых известных картин девятнадцатого века, и Мия повесила работу на торец именно потому, что знающий зритель её узнавал, а незнающий — всё равно чувствовал.

— Импрессионизм, — продолжал господин, обращаясь к двум дамам рядом. — Моне, «Кувшинки», вот это всё. Они же все тогда писали барменш.

Одна из дам кивала. Вторая, помоложе, смотрела в телефон и, похоже, искала в интернете, правда ли все тогда писали барменш.

Мия знала этого господина. Мирон Ильич, постоянный гость всех открытий, коллекционер в том смысле, в каком коллекционером можно назвать человека, у которого дома висят три картины и одна из них — подарок от тёщи. Он покупал редко, говорил много и был, в сущности, безобиден, если не считать того, что после его экскурсий зрители уходили уверенными в вещах, которых никогда не было.

Поправить его при дамах — значило выставить дураком. Промолчать — значило оставить трёх человек с уверенностью, что Моне писал барменш.

Мия подошла.

— Мирон Ильич, вы абсолютно правы, что вспомнили девятнадцатый век, — сказала она. — Художница так и задумала. Только она отвечает не Моне, а его почти однофамильцу — Мане. У Мане есть знаменитый «Бар в Фоли-Бержер»: девушка за стойкой, зеркало за спиной, а в зеркале — зал, который на неё не смотрит. Восемьсот восемьдесят второй год, одна из последних его больших картин. А Моне — это как раз «Кувшинки», вы точно вспомнили. Сады, вода, свет.

Мирон Ильич открыл рот. Закрыл.

— Мане, — сказал он. — Ну да. Я так и сказал.

— Вы в хорошей компании, — сказала Мия. — Их путали уже при жизни. Говорят, на Салоне шестьдесят пятого года Мане поздравляли с морскими пейзажами Моне, и он был в ярости: кто этот выскочка, который пользуется моим именем? А через несколько лет они стали друзьями.

Дамы засмеялись. Мирон Ильич выпрямился, как человек, которого только что называли знатоком истории искусства, и повторил:

— Вот. Путали. Даже на Салоне.

Через пять минут Мия слышала, как он рассказывает эту историю у соседней стены другой паре гостей, и рассказывает, надо признать, неплохо.

* * *

Константин пришёл в восемь пятнадцать и первые десять минут смотрел не на стены, а на людей.

Это был его способ понимать любое место. Отчётность говорит, сколько у организации денег. Гости говорят, сколько у неё будущего. Он стоял у входа, держал бокал воды и считал.

Дама в пальто, на котором логотип повторялся сорок раз, — пришла за фотографиями. Двое студентов в одинаковых свитерах — пришли за искусством и бесплатным игристым, причём в каком порядке, сказать трудно. Пожилая пара в немодной, но очень хорошей одежде — пришли, потому что ходят всегда. Господин в бархатном пиджаке цвета сливы — пришёл, чтобы его услышали. Константин отметил всех, расставил по полкам и почувствовал привычное спокойствие человека, у которого всё разложено.

Потом он увидел, как к бархатному господину подходит женщина в чёрном, и услышал историю про Салон шестьдесят пятого года.

Её он ещё не узнал: она стояла к нему спиной. Он узнал другое — интонацию человека, который поправляет не для того, чтобы выиграть. Это встречалось редко. На совещаниях, где он проводил половину жизни, поправляли исключительно для того, чтобы выиграть.

* * *

Мия отошла к окну и выдохнула. Из-за спины раздалось:

— Красиво вы его.

Мия обернулась.

Мужчина в тёмно-синем костюме, без галстука, стоял, заложив руки за спину, и смотрел не на неё, а на «Стойку». На запястье у него были простые стальные часы на чёрном каучуковом ремешке.

— Я его не «его», — сказала Мия. — Я ему помогла не ошибиться дальше.

— Вы помогли ему почувствовать себя умным. Это дороже.

— Это бесплатно. Мирон Ильич — хороший зритель. Он ходит на каждое открытие уже двенадцать лет. Если человек путает Мане с Моне, но двенадцать лет ходит смотреть, — я его не отдам.

Мужчина наконец повернулся к ней. Посмотрел на лицо. Потом — коротко, на долю секунды — на серьги.

— Константин, — сказал он. — Вадим Петрович обещал, что меня проведёт куратор.

— Мия. Куратор — я.

Она протянула руку. Рукопожатие у него было сухое, быстрое и вежливое, как подпись под документом, который он уже прочитал.

* * *

Начать с «Конечной» он не захотел.

— У меня сорок минут, — сказал Константин. — Давайте с главного.

— Главное у входа, — сказала Мия. — Я специально так повесила.

Он вздохнул — едва слышно, так вздыхают люди, которые привыкли, что их график уважают, — но пошёл.

У «Конечной» он остановился, посмотрел три секунды и сказал:

— Женщина, которая проспала свою остановку.

— Это то, что видно за секунду, — согласилась Мия. — А дальше?

— Дальше то же самое, только дольше.

— Посмотрите в окно вагона.

Константин посмотрел. За стеклом на картине было не чёрное метро, а серо-розовое небо над платформой.

— Метро наземное, — сказал он.

— Утро, — сказала Мия. — Она не проспала. Она едет домой. Посмотрите на её руки.

На коленях у спящей лежал пакет, а из пакета торчал рукав больничного халата. Тонкая деталь, почти незаметная, если не искать.

Константин помолчал.

— Ночная смена? — сказал он наконец.

— Может быть. Наверное, работает в больнице. Медсестра, санитарка, кто угодно — художник так и не узнал. Он ехал с ней одним поездом четыре года: утром он на работу, она, похоже, с работы. Ни разу не заговорил. — Мия смотрела не на картину, а на него. — Вы сказали «проспала остановку». А она, может быть, просто устала так, что ей всё равно, куда ехать. Это разные истории. Разница в одной детали, которую сначала не видно.

Константин отвёл глаза от холста и впервые за вечер посмотрел прямо на неё.

— Вы всех инвесторов так встречаете?

— Нет. Я так встречаю всех. Инвесторы ничем не лучше человека в куртке, который зашёл погреться.

— Звучит как лозунг.

— Это порядок развески, — сказала Мия. — Пойдёмте дальше. У вас осталось тридцать семь минут.

* * *

Он узнал её сразу.

Ещё у окна, когда она обернулась, — те же глаза, та же прямая спина, те же два холодных белых огня в ушах. Женщина с липовой аллеи. Та, что спорила о свете в семь утра.

Значит, свет был не для ремонта, подумал Константин. Свет был для этого зала.

Это была его ошибка, и он признал её сразу, как признавал любую неверную цифру: быстро и без лишних эмоций. Он принял выставочный свет за ремонт новой квартиры. Бывает.

Можно было сказать: «Мы с вами, кажется, бегаем в одном парке». Обычная светская фраза, с неё начинаются сотни знакомств. Константин даже почувствовал её на языке — и не сказал. Тогда пришлось бы объяснять, почему в парке он её обогнал, не замедлившись. А объяснять это ему не хотелось. Прежде всего — себе.

Но главное от этого не менялось.

Телефон в кармане дрогнул. Лев: «Кафе открыли в четверг. Кухню ставила компания одного производственника, всё работает, нареканий нет. Подрядчика по стройке поменяли весной — отсюда задержка. Весенние проекты: пока один, кураторский. Деталей нет».

Кураторский. Константин убрал телефон и пошёл за ней дальше.

Он шёл за ней по залу и смотрел, как она работает. Говорила она хорошо — коротко, без «пограничных состояний» и «контекстов», с живыми историями о художниках, которые явно знала не из пресс-релиза. Отвечала на его вопросы прямо. Не льстила. Когда он сказал, что одна графика, по его мнению, слабая, она не стала спорить, а ответила: «Слабая. Я её взяла, потому что следующая работа этого художника будет сильной, и я хочу, чтобы её показали у нас». Он оценил. Он умел ценить людей, которые вкладываются в то, чего ещё нет.

Она была профессионалом. Это было видно.

Но видно было и другое. Профессионализм — тоже вещь, которую можно купить. Хорошее образование где-нибудь в Лондоне. Стажировки в местах, куда не берут без звонка. Время, которое не нужно тратить на вторую работу. Квартира у парка, откуда пешком до галереи. Возможность брать в выставку слабую графику ради будущего — потому что собственное будущее у неё уже оплачено.

Константин видел таких людей десятками. Умных, образованных, работоспособных. Вполне искренних. Только у каждого за спиной стояла невидимая страховочная сетка, и в каждом их рискованном решении риска было меньше, чем казалось со стороны. Он не осуждал их. Он просто не вкладывался в их проекты: деньги, которые он давал, должны были что-то менять, а не ложиться на подушку, которая и так мягкая.

У большого холста в середине зала он задержался.

— Рама дороже работы, — сказал он.

Мия перевела взгляд на раму. Старое резное дерево, тёмное золото.

— Вы правы. Художник нашёл её на свалке у реставрационной мастерской и три месяца отчищал. Работу написал под неё. Сначала была рама, потом картина.

— То есть он вложился в упаковку.

— Он вложился в то, что другие выбросили. — Мия чуть повела плечом. — Это вообще-то и есть его тема. Вы её только что угадали, просто с другой стороны.

Константин хмыкнул. Он не любил, когда его ловили на сообразительности, которую он не собирался проявлять.

В девять Вадим Петрович постучал ложечкой о бокал и сказал речь. Против обыкновения короткую — пять минут, потому что Мия заранее вычеркнула из распечатки три абзаца. В конце директор пригласил куратора сказать пару слов.

Мия вышла и сказала даже меньше пары. Поблагодарила художников. Потом Юру, «который вешал каждую работу так, будто от этого зависит его жизнь, — а от этого зависела моя». Потом Гошу за свет. Потом Эрику, «которая перевела этикетки с кураторского на человеческий». Про себя — ни слова.

Константин заметил, что монтажник у дальней стены покраснел, как школьник, и смущённо отвернулся к лестнице. Он отметил и это. Хорошие руководители благодарят исполнителей. Умные — делают это при инвесторах.

У последней стены она спросила:

— Ну? Что вы увидели?

Он вспомнил, что обещал себе сорок минут, и посмотрел на часы. Прошло пятьдесят две.

— Хорошую выставку, — сказал он честно. — Хорошую команду. И куратора, который знает, что делает.

— Но?

Он чуть удивился, что она поймала это «но».

— Но я пока не понял, зачем этому центру мои деньги, — сказал Константин. — Мне нужно подумать.

Мия кивнула.

— Подумайте. Только думайте дольше секунды.

Она ушла к гостям, а он остался у последней стены и вдруг понял, что впервые за вечер не знает, что ответить.

* * *

Эрика поймала Мию у лестницы. В руках у неё был бокал с игристым.

— Ну?

— Он сказал «хорошая выставка», — ответила Мия. — Таким тоном, каким говорят «хороший ресторан» про место, куда больше не придут.

— Может, он просто так разговаривает.

— Может. — Мия посмотрела вниз, на гардероб, где Константин стоял с каталогом в руках. — Он смотрел на «Конечную» три секунды и сказал «проспала остановку». А потом, когда я показала ему халат в пакете, у него сделалось лицо человека, нашедшего ошибку в чужом отчёте. Только чужой отчёт был его.

— Это хороший знак, — сказала Эрика.

— Почему?

— Люди, которые не умеют ошибаться, не меняются в лице. Они просто смотрят дальше.

Мия хотела спросить, откуда Эрика это знает, но Эрику уже звал лектор с вопросом про завтрашний микрофон, и она ушла, так и не отпив из своего бокала.

* * *

Каталог он взял на выходе — тонкий, хорошо свёрстанный, на плотной бумаге. Открыл последнюю страницу, где мелким шрифтом перечислялась команда выставки. «Куратор — Мия...» и фамилия.

Неделю назад, читая отчётность, он её пролистал. Сейчас прочитал.

Фамилия была из тех, которые он встречал в отчётах о крупных сделках чаще, чем в каталогах выставок. Её произносили в его кругу тем же тоном, каким произносят название хорошо известного банка: без восхищения, но и без сомнения в платёжеспособности.

Константин закрыл каталог. Внутри у него щёлкнуло что-то очень похожее на удовлетворение — то самое чувство, когда неверная, казалось бы, цифра вдруг сходится с итоговой строкой. Он ошибся про свет. Он не ошибся про главное.

Вадим Петрович догнал его у гардероба — запыхавшийся, с программкой у груди.

— Ну как? Как вам?

* * *

Мия спустилась за кружкой.

Свою термокружку с отбитым краем она оставила утром у гардероба, на подоконнике, и весь вечер ловила себя на том, что ей не хватает её в руках. Кружка стояла на месте. Мия протянула за ней руку и остановилась, потому что за перегородкой гардероба прозвучал голос директора:

— ...ну как? Как вам?

И второй голос, ровный, без нажима, тот самый, что пятьдесят две минуты задавал ей точные вопросы:

— Выставка хорошая. Куратор сильная. Это правда.

— Значит, весной...

— Мне сказали, что на весну у вас её собственный проект.

— Да, да, совершенно самостоятельный, она очень...

— Тогда я вам сэкономлю время. — Пауза, шорох пальто. — Я не вкладываюсь в проекты, которые в крайнем случае всегда может оплатить папа.

Мия стояла у подоконника, держа кружку с отбитым краем, и смотрела на свою руку так, будто рука была чужая.

Глава 5. Всё включено, кроме согласия

Некоторые мужчины уверены, что за деньги можно всё. Особенно то, на что женщина уже сказала «нет».

В пять часов семнадцать минут вечера, за два с половиной часа до ужина на тридцать шесть персон, заказчик позвонил лично.

Агата знала этот тип звонков по первому гудку. Подрядчики звонят в рабочее время и начинают с «Агата, тут такое дело». Клиенты пишут, а не звонят. А когда за два с половиной часа до начала звонит сам заказчик, значит, ему что-то пришло в голову. Обычно в душе, иногда в машине, однажды — с похорон собственной тётки.

— Агата? Борис. — Голос был низкий, весёлый, с той лёгкой хрипотцой, которая бывает у людей, много говорящих в ресторанах и мало спящих. — У меня гениальная идея.

— Слушаю, — сказала Агата и на всякий случай присела на край стола.

Это был банкетный зал его отеля: тридцать шесть приборов, выверенных по линейке. Даниил Кротов из технической группы настраивал микрофон для тоста. Маша в другом конце зала сверяла карточки рассадки с последним списком и с утра ни разу не упомянула ни Савелия Андреевича, ни Марту, ни бейдж. Разговор «про бейдж» в прошлую пятницу продлился семь минут и закончился тем, что Маша сказала: «Это больше не повторится», а Агата сказала: «Посмотрим». Обе знали, что это не ответ.

Говорили в её кабинете, при закрытой двери. Агата положила бейдж «Марта» на стол между ними, как улику.

— Мне не нужно знать почему, — сказала она тогда. — Мне нужно знать, сколько ещё людей думают, что у меня работает Марта.

— Четверо, — сказала Маша. — Савелий Андреевич и трое его знакомых.

— И что ты будешь делать, когда они придут на следующее открытие и спросят Марту у охраны?

Маша молчала. Агата видела, что она не знает ответа, и что ей стыдно, и что стыд пока проигрывает чему-то другому — тому, что Агата узнавала с неприятной точностью. Она сама когда-то носила чужое имя. Не на бейдже — в паспорте: фамилию мужа. И помнила, как приятно было поначалу отзываться на него в дорогих магазинах.

Бейдж она тогда убрала обратно в папку. Выбросить почему-то не смогла.

— Мы переезжаем на крышу, — сказал Борис.

Агата посмотрела в окно. Окно выходило на реку, над рекой висело низкое октябрьское небо цвета старого олова. Где-то за облаками было плюс семь.

— На крышу, — повторила она.

— Там терраса. Вид на весь город. Мои партнёры прилетели из двух часовых поясов, они такого не видели. Поставим обогреватели, факелы, пледы. Ужин под звёздами. И ещё — я позвал шестерых из городской администрации, они подъедут к восьми. Итого сорок два. И давайте в конце фейерверк. Небольшой. Со вкусом.

Агата подняла глаза к потолку. За две секунды она успела посчитать всё: сколько человек выдерживает терраса по документам, сколько у них пожарных выходов, где взять ещё шесть порций говядины, кто будет согласовывать пиротехнику в черте города в восемь вечера в четверг, и сколько стоит её репутация в случае, если кто-нибудь из гостей из городской администрации поскользнётся на мокром настиле.

— Борис, — сказала она. — Давайте я поднимусь к вам. Такие вещи по телефону не решаются.

— Отлично! — обрадовался он. — Я на террасе. Уже смотрю, куда ставить факелы.

* * *

Две недели назад, на первой встрече по смете, Борис трижды поменял меню, дважды — количество гостей и один раз — город, в котором живут его партнёры, потому что перепутал, кто из них откуда. Потребовал устриц. В октябре. Агата объяснила, что устрицы бывают и в октябре, но не те, которые он имеет в виду, и что если он хочет, чтобы партнёры запомнили ужин, лучше пусть запомнят его вкусным, а не дорогим. Борис посмотрел на неё так, будто она предложила ему пойти пешком, и согласился на местную рыбу. Вечером того же дня Агата вписала в свой блокнот одно короткое слово.

Терраса была прекрасна. Агата признала это сразу, как только вышла из лифта: деревянный настил, стеклянное ограждение, весь город внизу, как рассыпанная мелочь, и над рекой — длинная полоса заката, которая через полчаса должна была погаснуть. Летом здесь, наверное, хотелось жить.

В октябре здесь хотелось надеть второй свитер.

Борис стоял у ограждения в расстёгнутом пальто и показывал руками, где будут столы. Он был крупный, широкоплечий, с короткой сединой и лицом человека, которому жизнь в основном нравится. Часы у него на руке были золотые и большие, и это была, пожалуй, единственная вещь в нём, которая хотела, чтобы её заметили. Всё остальное просто занимало много места: голос, жесты, смех.

Рядом с ним с несчастным видом стоял управляющий отелем, щуплый человек в очках, и молчал так выразительно, что Агате стало его жалко.

— Вот! — Борис раскинул руки. — Скажите, что я не гений.

— Вы не гений, — сказала Агата.

Управляющий кашлянул в кулак, и Агата могла бы поклясться, что это был смешок.

Борис повернулся к ней. Посмотрел внимательно, с интересом человека, которому давно никто не говорил «нет» в лицо, и он забыл, как это звучит.

— Объясните.

— Охотно. — Агата достала из папки план отеля, который всегда возила с собой на площадку, и развернула его на перилах. — Терраса рассчитана на двадцать пять человек. Не я придумала, так написано в документах вашего же отеля, которые подписывала пожарная инспекция. Выход отсюда — один лифт и одна лестница. Если сорок два человека, половина из которых выпила, захотят спуститься одновременно, у вас будет давка на лестнице шириной в метр десять.

— Мы предупредим, чтобы не спускались одновременно.

— Борис, вы когда-нибудь пробовали предупредить сорок человек после третьего тоста?

Он открыл рот и закрыл его.

— Дальше, — продолжала Агата. — Факелы на деревянном настиле. Обогреватели газовые, их у отеля четыре, а нужно восемь, и газовые баллоны на террасе нужно согласовывать со службой безопасности здания. Фейерверк в черте города требует разрешения, которое не выдают за два с половиной часа, а без разрешения его запустит только тот, кто хочет познакомиться с полицией поближе. И шесть человек из администрации, которым ваш шеф должен прямо сейчас найти шесть порций говядины, а говядину он заказывал позавчера, ровно на тридцать шесть.

— Я всё оплачу, — сказал Борис. — Любые расходы. Двойной тариф. Тройной. Сколько нужно.

Вот оно, подумала Агата.

Деньги Агата начала зарабатывать в пятнадцать: в костюме зелёного динозавра, на детских праздниках, по субботам. Динозавр был тяжёлый, жаркий, с хвостом, который сносил со столов стаканы с соком, и платили за него столько, что хватало на проездной и одну пиццу. Зато за эти субботы она узнала о праздниках всё: что дети плачут от громкой музыки, что

родители ссорятся на кухне, пока дети задувают свечи, и что самые щедрые заказчики чаще других говорят «я всё оплачу».

Фразу «я всё оплачу» она с тех пор слышала столько раз, что могла бы составить словарь интонаций. Были весёлые «я всё оплачу», были снисходительные. Были те, что звучали как «я тебя купил». Был один особенный голос, от которого у неё до сих пор холодели пальцы: бывший муж произносил эти слова очень мягко, почти нежно, и только через несколько лет брака Агата поняла, что каждый раз после них из её жизни что-нибудь исчезало. Сначала — право выбирать ресторан. Потом — право выбирать, когда работать. Потом — работа.

Голос Бориса был другим. В нём не было ни снисходительности, ни нежности. В нём была искренняя, почти детская уверенность, что деньги — это универсальный ключ, просто кто-то забыл ему об этом сказать.

— Борис, — сказала она спокойно. — Вы можете оплатить официантам переработку, и я с радостью выставлю вам за это счёт. Вы можете оплатить шефу ночную смену. Но вы не можете оплатить, чтобы на террасе на двадцать пять человек поместились сорок два. И чтобы пожарная лестница стала шире. И чтобы говядина, которой нет, появилась в холодильнике. Время, люди и безопасность задним числом не покупаются. Их можно только спланировать заранее.

Пауза была длинной. Закат над рекой стал из оранжевого малиновым.

— Вы мне отказываете, — сказал Борис. Не обиженно — с каким-то даже удивлением, как будто нашёл в собственном отеле комнату, о которой не знал.

— Я вам отказываю в том, что опасно. А теперь давайте я скажу, что можно.

* * *

Можно оказалось больше, чем он ожидал.

Аперитив — на террасе, но только на сорок минут, только для тех, кто захочет, и с ограничением по количеству: управляющий выставит у лифта сотрудника со списком. Пледы — в отеле их нашлось сорок. Четыре электрических обогревателя вместо газовых: их можно поставить без согласований, они слабее, но и гореть нечему. Никаких факелов. Вместо фейерверка — подсветка ограждения тёплым светом, которую Даниил брался смонтировать за час из того, что было в машине.

Ужин — внизу, в зале, как и планировалось. Шесть человек из администрации — да, но за отдельным столом у окна, который можно накрыть за двадцать минут. Шеф, которого вызвали на террасу, выслушал вопрос про говядину, долго смотрел на реку и сказал, что у него есть утка на завтрашний бранч, восемь порций, и что если господа из администрации не будут возражать против утки, то он не будет возражать против того, чтобы завтрашний бранч начался с омлета.

— Они не будут возражать, — сказал Борис. — Я им сам скажу.

— Нет, — сказала Агата. — Вы им ничего не скажете. Им принесут утку, и они решат, что так и было задумано. Если вы предупредите, они решат, что им досталось то, что осталось.

Борис посмотрел на неё долгим взглядом. Потом расхохотался — раскатисто, от души, так, что управляющий вздрогнул.

— Где вы были раньше? — спросил он. — У меня было три организатора за последний год. Все говорили «да, конечно», а потом всё горело.

— Я была на других мероприятиях, — сказала Агата. — Там тоже говорили «да, конечно».

* * *

Лифт сломался в шесть сорок.

Не драматически, без искр и без застрявших людей, — просто встал между вторым и третьим этажом с тележкой, на которой ехали ящики с бокалами для аперитива, пледы и два

электрических обогревателя. Управляющий вызвал лифтера. Лифтер обещал быть через сорок минут. Аперитив начинался через пятьдесят.

Агата стояла у дверей служебной лестницы и считала. Бокалы можно было взять с банкетного этажа, их хватало. Пледы — в шкафу на шестом. Обогреватели оставались в лифте, и без них сорок минут на террасе превращались в упражнение по выживанию для людей в вечерних платьях.

Второй комплект обогревателей лежал в подсобке на первом этаже. Шесть этажей вверх. По лестнице шириной в метр десять.

— Даниил, — сказала она в рацию. — Нужны двое на первый этаж. Обогреватели, наверх, по лестнице.

— Двое — это я и Маша, — ответил Даниил. — Остальные на рассадке. Маша, если честно, не донесёт.

— Маша донесёт, — сказала Маша в ту же рацию с другого конца отеля. — Маша на каблуках, но злая.

Агата уже собиралась ответить, что Маша останется на рассадке, когда дверь служебной лестницы открылась и мимо неё прошёл Борис. Без пальто, в рубашке с закатанными рукавами.

— Где подсобка?

— Борис, это не ваша...

— Подсобка в моём отеле. — Он уже спускался. — Значит, моя.

Агата пошла за ним, потому что больше ничего не оставалось.

В подсобке, кроме обогревателей, обнаружили двое молодых парней из ресторанной смены, которые прятались там с телефонами, и Борис не стал на них кричать. Он сказал: «Ребята, помогите, а?» — таким тоном, будто просил соседа подержать дверь, и через минуту все четверо уже несли наверх тяжёлые коробки: двое парней, Даниил, прибежавший снизу, и Борис.

Он нёс самый тяжёлый. Нёс молча, тяжело дыша на четвёртом этаже, остановился на пятом, вытер лоб рукавом дорогой рубашки и пошёл дальше. На шестом обернулся к Агате, которая поднималась следом с двумя пледами в руках, и сказал:

— Теперь я понимаю, почему вы против сорока двух человек на этой лестнице.

— Это обогреватель, — сказала Агата. — Люди тяжелее.

— Люди хотя бы сами идут.

— Не после третьего тоста.

Он засмеялся на лестничной площадке, и смех гулко покотился вниз по пролётам, до самого подвала.

* * *

Пока партнёры поднимались на террасу, Агата стояла у служебного входа с рацией и видела, как Борис здоровается со швейцаром. Не кивает — здоровается: за руку, по имени, спрашивает про сына, который, судя по ответу, поступал куда-то в этом году и поступил. Потом так же, по имени, — с девушкой на ресепшене и с охранником у лифта. Агата за годы в профессии видела десятки владельцев, которые знали своих сотрудников только по должностям. Этот знал по именам. Это ничего не доказывало. Но запоминалось.

На террасе, у стеклянного ограждения, Борис нашёл её через двадцать минут — с бокалом, который, похоже, держал для вида.

— Можно вопрос? — сказал он. — Почему вы первым делом спросили про лестницу? Не про бюджет, не про меню. Про лестницу.

Агата посмотрела вниз, на город.

— Потому что однажды я была на свадьбе, где в зале погас свет, — сказала она. — Не я организовывала, я была подрядчиком. Двести человек, одна дверь, и никто не знал, где второй выход. Ничего не случилось. Просто три минуты все стояли в темноте и толкали друг друга.

Я тогда поняла, что красивое и безопасное — это две разные сметы. И первую можно урезать, а вторую нельзя.

Борис помолчал.

— У меня в отеле на каждом этаже по два выхода, — сказал он. — Я проверял, когда покупал.

— Я знаю. Я тоже проверила, когда вы покупали меня.

Он засмеялся и тут же осёкся, будто понял, что она пошутила лишь наполовину.

— Я покупал вашу работу, — сказал он.

— Тогда вы купили лучшее, что у меня есть, — ответила Агата. — Остальное не продаётся.

Ужин прошёл хорошо. Партнёры из двух часовых поясов кутались в пледы на террасе, фотографировали город, восхищались подсветкой и говорили Борису, что «у них так не умеют». Чиновники ели утку и хвалили шефа. Один из них, пожилой и очень серьёзный, сказал, что утка — его любимое блюдо и что он не ел такой с тех пор, как умерла жена. Агата слышала это, проходя мимо, и подумала, что ни один план в мире не учитывает таких вещей.

Маша прошла мимо неё в половине десятого с подносом пустых бокалов и шепнула: «Он сам таскал?» Агата кивнула. Маша подняла бровь так высоко, что та почти исчезла под чёлкой, и ушла на кухню.

В одиннадцать Агата сидела в пустом банкетном зале за последним небраным столом и закрывала смету. Официанты снимали скатерти. Даниил сматывал кабели. За окном снова стало темно и мокро, и подсветки террасы отсюда было не видно.

Борис подошёл, когда она подписывала акт выполненных работ. Сел напротив, не спрашивая разрешения, — что ж, это был его стул в его отеле. Рукава рубашки так и остались закатанными, на манжете темнела полоса от пыльного ящика.

— Вы испортили мне вечер, — сказал он.

Агата подняла глаза.

— Я спасла вам вечер.

— Это одно и то же, — сказал Борис. — Я хотел гениальную идею. А получил хороший ужин. Мне давно никто не говорил «нет» так, чтобы после этого было лучше, чем до.

Ей было что ответить. Можно было сказать что-нибудь острое — про то, что «нет» полезно слышать всем, даже владельцам отелей. Можно было сказать что-нибудь вежливое — про то, что это её работа. Она не сказала ни того, ни другого. Просто кивнула и протянула ему акт.

Он расписался не глядя. Потом всё-таки глянул на сумму, и на лице его мелькнуло что-то вроде уважения.

— Вы не выставили мне тройной тариф.

— Вы его не заработали, — сказала Агата. — Двойной — за переработку людей. Тройной я выставляю только тем, кто кричит на официантов.

Борис встал, собираясь уходить, а потом всё-таки задержался.

— Я ещё вам позвоню, — сказал он. — Не как клиент.

— Звоните как клиент, — сказала Агата. — С клиентами я хотя бы знаю, что делать.

Он ушёл, оставив после себя запах дорогого одеколона и пыли с лестницы.

* * *

Дома, уже за полночь, Агата разбирала сумку и вытащила свой рабочий блокнот — бумажный, в клетку, старомодный, как сказала бы Маша. В нём Агата вела всех клиентов с самого основания агентства: дату, событие, сумму, и в последней колонке — одно слово, своё, для себя, которое никто никогда не видел. «Зануда». «Душка». «Не платит». «Вернётся». Это слово помогало ей через полгода вспомнить человека быстрее любой базы данных.

Напротив сегодняшней даты, напротив фамилии Бориса, в последней колонке ещё с первой встречи, с первого обсуждения сметы две недели назад, стояло её же круглым почерком: «Самодур».

Агата долго смотрела на это слово. Потом взяла ручку и аккуратно, одной ровной линией, перечеркнула его.

И ничего не написала взамен.

Глава 6. Проверке не подлежит

Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?

Козьма Прутков. «Плоды раздумья»

Лектор позвонил в шесть пятнадцать и чихнул в трубку так, что Эрика отодвинула телефон от уха.

— Тридцать восемь и шесть, — сообщил он голосом человека, уже составившего завещание. — Я не смогу. Простите. Там все слайды в папке. И текст. Текст хороший. Я над ним два месяца...

— Лечитесь, Олег Михайлович, — сказала Эрика. — Мы что-нибудь придумаем.

Она положила телефон на стол и посмотрела на афишу, висевшую на стене маленького кабинета при лектории. «Два Давида: бронза и мрамор. Флоренция спорит сама с собой». Вторник, девятнадцать тридцать. Сорок два проданных билета. Лекторий центра вмещал шестьдесят, и сорок два для второго вечера сезона было очень хорошо. Отменять было жалко. Переносить — некуда: следующие три вторника были расписаны.

Можно было вернуть людям деньги и разослать вежливые письма. Можно было поставить запись чужой лекции из интернета и разлить чай. Можно было позвонить Вадиму Петровичу, и он прижал бы телефон к груди и сказал бы «ой».

Эрика открыла папку со слайдами. Сорок семь штук. Флоренция, бронза, мрамор, мастерские, площади, руки, головы, ноги.

Она знала эту историю. Знала давно и хорошо — так, как знают вещи, которые когда-то были частью твоей работы. Даты, размеры, споры о том, кто и когда отливал. Знала и другое: человек, который читает чужую лекцию по чужому тексту, звучит как экскурсовод в автобусе. А она слишком долго слушала таких экскурсоводов, чтобы стать одним из них.

Текст Олега Михайловича она закрыла, не читая.

Слайды оставила.

Сорок минут до начала она провела в пустом лектории, щёлкая пультом. Переставила слайды: мрамор после бронзы, а не наоборот. Выбросила четыре одинаковых вида площади. Оставила крупный план рук мраморного Давида — вены на тыльной стороне ладони, которые не видны туристам снизу.

Эти вены она когда-то видела вблизи. Не с балкона, не с экскурсией — в пустом зале галереи Академии, в половине восьмого утра, задолго до того, как открылись кассы. Так в музей попадают только те, кого проводят люди с ключами. Кто провёл её туда в то утро и почему, Эрика вспоминать не стала. Она просто вернула слайд с руками в середину лекции и пошла было переодеваться, но вспомнила, что переодеваться не во что.

* * *

Зал заполнился к половине восьмого. Студенты в задних рядах, пожилые пары в передних, две подруги средних лет, которые всегда садились у прохода, чтобы уйти незаметно, если станет скучно, и ни разу ещё не ушли. Несколько мужчин в пиджаках — партнёры лекционной серии, их приглашали на каждый вечер, и обычно половина из них не приходила.

Эрика вышла к кафедре в том же сером платье, в котором с утра разбирала договоры, с тонкими часами на кожаном ремешке. Микрофон взяла, но на кафедру не встала: стоять за кафедрой ей всегда казалось похожим на попытку спрятаться за забором.

— Добрый вечер, — сказала она. — У меня для вас две новости. Плохая: Олег Михайлович заболел и сегодня не придёт. Хорошая: я его очень люблю и прочитала все его лекции, поэтому знаю, где он обычно шутит. Шутить буду я. Если не получится — вам вернут деньги за шутки. За Давидов, к сожалению, нет.

В зале засмеялись. Подруги у прохода переглянулись и устроились поудобнее.

Где-то в середине ряда девушка подняла телефон, чтобы снять начало. Эрика заметила красный огонёк записи раньше, чем девушка успела выставить кадр.

— Слайды снимайте сколько угодно, — сказала она с улыбкой. — Меня не надо. Я не входила в программу Возрождения.

Девушка смутилась и опустила телефон. Зал снова засмеялся, и никто, кроме одного человека в третьем ряду, не заметил, что лектор шагнула в сторону, из луча проектора, и до конца вечера в него больше не возвращалась.

Первый слайд. Бронзовый юноша в широкополой шляпе с венком, голый, если не считать сапог, тонкий, почти мальчишеский. Стоит, отставив бедро, одна нога на отрубленной голове великана. В руке — огромный для такого тела меч.

— Это Давид Донателло, — сказала Эрика. — Бронза, примерно сороковые годы пятнадцатого века, точную дату спорят до сих пор. Росту в нём около полутора метров — меньше, чем во мне. Обратите внимание, во что он одет.

— Ни во что, — сказал кто-то из студентов.

— В шляпу и сапоги, — поправила Эрика. — Это хуже, чем ни во что. Это осознанный выбор.

Смех стал громче.

— Считается, что это первая со времён античности отдельно стоящая обнажённая мужская статуя. Тысяча лет никто не решался. А Донателло решился. Кто именно и когда его заказал, историки спорят до сих пор, но известно, что позже он стоял во дворе дворца Медичи — самой богатой семьи Флоренции. Его Давид уже победил. Голиаф лежит под ногами. Битва кончилась. Перед нами юноша, который знает, что он прав, и немного этим любитесь.

Второй слайд. Мрамор. Огромный, белый, напряжённый, с пращей через плечо и рукой, в которой спрятан камень. Брови сведены, взгляд — куда-то за пределы зала.

— А это Давид Микеланджело. Мрамор, тысяча пятьсот первый — тысяча пятьсот четвёртый. Пять метров семнадцать сантиметров — и это без постамента. Микеланджело было двадцать шесть, когда он взялся за глыбу, которую до него уже начинали резать другие и бросили. Флорентийцы называли её «Гигантом». Почти сорок лет она пролежала во дворе соборной мастерской, испорченная, никому не нужная. А он увидел в ней этого юношу.

Пауза.

— Посмотрите на лицо. Он ещё не бросил камень. Голиафа нет — Голиаф где-то там, впереди, за пределами мрамора. Это момент до. Момент, когда решение уже принято, но ещё ничего не случилось.

Она помолчала и добавила:

— Два Давида. Один — про то, как выглядит победа. Другой — про то, как выглядит решение. Мраморного, кстати, заказывали для собора, а не для площади: он должен был стоять высоко на контрфорсе. Но когда его закончили, Флоренция решила, что такое нельзя прятать под крышей, и сделала его символом республики. Шестьдесят лет между ними. Как будто в первый раз городу хотелось похвастаться, а во второй — напомнить себе, что он умеет драться.

* * *

Вопросы начались, как всегда, с самого смелого студента — про размер рук у мраморного Давида. Эрика объяснила, что статую сначала задумывали для очень высокого места на соборе, откуда снизу пропорции смотрелись бы иначе, и что это одна из версий, а не закон, и что версий у искусствоведов вообще больше, чем статуй. Потом пожилая дама спросила, правда ли, что на площади сейчас стоит копия. Правда, сказала Эрика: оригинал в конце девятнадцатого века увезли в галерею Академии, чтобы спасти от непогоды, а на площади с тех пор стоит его двойник, которого фотографируют туристы, уверенные, что фотографируют подлинник.

— Ещё один Давид, — сказала она. — Третий. Самый популярный и самый ненастоящий.

А потом руку поднял мужчина в третьем ряду.

Он сидел с самого начала, не снимая пиджака, и не смеялся ни разу — Эрика это заметила, потому что всегда замечала, кто не смеётся. Лет сорока пяти, сухощавый, в очках без оправы, с аккуратной сединой на висках. Не делал заметок. Просто смотрел.

— Простите, — сказал он. Голос у него был негромкий, ровный, как у человека, который привык, что его слушают и без повышения тона. — Можно немного неудобный вопрос?

— Неудобные — мои любимые, — сказала Эрика. — Удобные Олег Михайлович забрал с собой.

— Вы рассказали красивую историю о победе и решении. Но если отбросить поэзию, разве это не два успешных политических заказа? Медичи хотели показать, что они — Давид, а их враги — Голиаф. Республика через шестьдесят лет хотела показать то же самое, только про себя. Это хороший пиар. Талантливый, дорогой, на века. Но почему мы до сих пор обсуждаем его как искусство, а не как самую удачную рекламную кампанию эпохи Возрождения?

В зале стало тихо. Студенты оживились: наконец-то драка.

Эрика посмотрела на мужчину внимательно. Он не издевался. Он действительно хотел знать ответ, и, кажется, давно ни от кого его не получал.

— Вы во многом правы, — сказала она. — Оба стали политическими символами, пусть и не сразу. Мраморного Давида поставили не туда, куда собирались, а прямо перед дворцом правительства, и во Флоренции его понимали как предупреждение всем, кто захочет прийти с мечом. Это был плакат. Самый дорогой плакат в истории города.

Мужчина чуть наклонил голову, ожидая «но».

— Но, — сказала Эрика, — рекламу забывают, когда кончается товар. Медичи давно нет, флорентийской республики тоже. Мы не помним, кого именно имел в виду совет, когда выбирал место для статуи. А на Давида каждый год приходят смотреть миллионы людей, которые понятия не имеют, с кем воевала Флоренция в тысяча пятьсот четвёртом году. Значит, в нём есть что-то, что пережило заказчика. Вот это «что-то» мы и называем искусством. Остальное было пиаром. Он закончился. А это — нет.

Она помолчала.

— Кроме того, — добавила она, — заказчики во все века одинаковы. Вазари рассказывает, что глава республики Содерини, увидев почти готовую статую, сказал, что нос великоват. Микеланджело поднялся на леса, сделал вид, что работает резцом, и тихонько сыпанул вниз горсть мраморной пыли, которую заранее зажал в кулаке. «Вот теперь гораздо лучше», — сказал Содерини. Нос, разумеется, остался прежним.

Зал засмеялся, а мужчина в третьем ряду — впервые за вечер — улыбнулся. Коротко, почти незаметно, одними уголками рта, как улыбаются люди, проигравшие спор, который хотели проиграть.

— Спасибо, — сказал он. — Это лучший ответ, который я слышал на этот вопрос.

— Вы его часто задаёте?

— Уже лет десять, — сказал он. — Обычно мне отвечают, что я ничего не понимаю в искусстве.

— Вы понимаете в нём достаточно, чтобы задать правильный вопрос, — сказала Эрика. — Этого обычно не хватает тем, кто отвечает.

* * *

После лекции, когда зал опустел, а уборщица уже позвякивала ведром у дальней стены, он подошёл к столику с программками.

Вблизи он оказался выше, чем казался в кресле, и старше в глазах, чем в лице. Очки он снял и держал в руке, как держат вещь, которая помогает думать.

— Герман, — сказал он и протянул руку. — Один из тех партнёров лекционной серии, которые обычно не приходят.

— Эрика. Одна из тех, кто обычно эту серию собирает, а не читает.

— Вы читали не по тексту.

— Текст был у Олега Михайловича. Мне показалось неправильным озвучивать чужие два месяца работы своим голосом.

Герман кивнул, как человек, получивший разумный ответ на технический вопрос.

— А вы, — спросила Эрика, — какой из двух Давидов?

Он не ожидал вопроса и на секунду задумался всерьёз — она это оценила.

— Мраморный, — сказал Герман. — Вечно перед решением. Мои сотрудники говорят, что я принимаю решения дольше, чем Микеланджело резал статую.

— Нет, — сказала Эрика. — Вы бронзовый. Вы уже победили: людей, которые ещё воют, не зовут в партнёры лекционных серий. Просто вы ещё не сняли шляпу.

— Какую шляпу?

— Ту, в которой задают вопросы о пиаре, чтобы проверить, умеет ли лектор думать.

Герман рассмеялся — впервые за вечер вслух, и, кажется, сам этому удивился.

— Вы искусствовед?

— По образованию — да.

— А где работали раньше? До центра. — Вопрос прозвучал без нажима, с обычным вежливым интересом, каким начинается любое знакомство двух взрослых людей. — Так говорить о Флоренции можно только если видел всё это вблизи.

Эрика взяла со стола стопку программ и аккуратно выровняла её ладонью, хотя программки лежали ровно.

— Видела, — сказала она. — Даже Давида — рано утром, в пустой Академии: знакомые с ключами провели. Я много где работала. В основном с людьми, которые покупают искусство, а не смотрят на него. Это быстро учит отличать одно от другого.

— С коллекционерами?

— С разными людьми. — Она улыбнулась, и улыбка вышла лёгкой, как будто вопрос был совсем неважным. — Когда-нибудь расскажу, если будет интересно. Это долгая и довольно скучная история. Гораздо скучнее Донателло.

Он посмотрел на неё чуть дольше, чем требовала вежливость, и не стал спрашивать дальше.

Когда он отошёл, Эрика взяла верхнюю программку и машинально прочитала то, что знала наизусть. Под её именем стояли две строки. Ни фамилии, ни образования, ни прежних мест работы. Вадим Петрович когда-то предлагал написать больше — «люди любят знать, кто перед ними». Эрика сказала, что люди любят смотреть на Давида, а не на того, кто про него рассказывает. Директор подумал и согласился. Он вообще был из тех, кто легко соглашается, если ему улыбнуться.

Она положила программку обратно в стопку. Ровно. Хотя она и так лежала ровно.

* * *

Герман вышел из центра в начале десятого и не стал вызывать машину сразу. Пошёл пешком до набережной: ему нужно было подумать, а думать на ходу у него получалось лучше, чем за столом.

Он ходил на эти лекции не ради искусства. Компания, которую он когда-то начинал в арендованной комнате над прачечной, давно разрослась, и в ней теперь были люди, которые решали за него, на какие лекционные серии давать деньги. Его самого интересовало другое. Он приходил смотреть, как люди думают вслух. Это было полезнее любого собеседования.

И сегодня он увидел то, чего не видел давно.

Она не попыталась ему понравиться. Не согласилась с ним, чтобы сгладить неловкость, и не обиделась, чтобы выглядеть принципиальной. Она признала, что он прав, — и тут же показала, где он прав не до конца. Спокойно. С юмором. Без единого слова, которое звучало бы как цитата из чужой книги.

Он вспомнил и другое: как она попросила не снимать её на телефон и вышла из луча проектора. Многие лекторы любят, когда их снимают. Она — нет. Скромность, решил Герман. Или вкус. Человек, который не путает себя с предметом разговора.

Ещё он заметил, что на ней нет ни одного украшения, кроме тонких часов. Платье серое, простое, хорошо сидящее. Ни логотипов, ни камней, ни тех вещей, которые женщины надевают, чтобы мужчина вроде него понял, сколько они стоят. Он слишком хорошо знал этот язык и когда-то дорого заплатил за то, что принял его за разговор.

Здесь было наоборот. Языка вещей не было вовсе. Зато говорил человек.

Он поймал себя на том, что уже составил о ней почти законченное мнение: умная, сдержанная, независимая, безразличная к статусу. Ровно та женщина, которую он перестал надеяться встретить. Обычно такая скорость выводов его настораживала. Он строил компанию на правиле «проверяй всё дважды» и не раз видел, как красивые резюме рассыпаются при первом же звонке прежнему работодателю.

Только одна деталь царапнула его — не тревожно, а так, как царапает непрочитанная строчка в хорошем договоре. В программке под её именем стояло всего две строки: «Эрика. Консультант культурных программ центра». Ни фамилии, ни образования, ни прежних мест работы. У всех остальных в той же программке, даже у звукорежиссёра, было написано больше.

И на вопрос, где она работала, она ответила так, что ответа он не получил.

Герман остановился у парапета, глядя на чёрную воду, и вдруг понял, что ему совершенно не хочется это выяснять.

Он достал телефон и написал Игнату — единственному из друзей, который никогда не спрашивал «ну и как она?», а спрашивал «и что ты будешь делать?».

«Был на лекции про Давидов. Ты будешь смеяться».

Ответ пришёл через минуту, как всегда, без заглавных букв: «норд не смеётся. я тоже. в пятницу ужинаем втроём с костей, расскажешь».

Герман убрал телефон и пошёл обратно к центру. Он вдруг сообразил, что не спросил у неё самого простого.

* * *

Эрика задержалась в лектории дольше, чем было нужно. Выключила проектор, собрала забытые на креслах программки, нашла под третьим рядом чей-то шарф и повесила его на спинку — завтра хозяйка найдёт. Сняла часы, потёрла запястье, надела обратно. Это была старая привычка, ещё с тех времён, когда после долгих вечеров ей хотелось почувствовать, что время снова принадлежит ей.

Вопрос про прежнюю работу всё ещё стоял в голове, как недопитый бокал на подносе. Она ответила правду. Ни одного слова неправды. Просто правда вышла очень короткой — короче, чем человек напротив, кажется, заслуживал.

Он догнал её у служебного выхода, когда она запирала дверь лектория. Эрика стояла с ключами в руке и с папкой Олега Михайловича под мышкой, и обернулась на шаги быстрее, чем ей самой хотелось бы. Старая привычка, от которой она так и не отучилась.

— Простите, — сказал Герман. — Я не хотел вас пугать.

— Вы не напугали, — сказала Эрика. — Вы что-то забыли?

— Номер телефона, — сказал он. — Ваш. У меня никогда не было так много вопросов про Флоренцию, и мне не хочется задавать их Олегу Михайловичу.

Она помедлила — секунду, не больше, — а потом продиктовала номер. Он записал его, не переспрашивая, и убрал телефон в карман.

— Знаете, — сказал Герман, уже отступая к ступенькам, — у меня есть привычка, за которую меня не любят друзья и очень любят юристы. Я обычно проверяю людей, с которыми работаю. Всех. Всегда.

Эрика стояла неподвижно, с ключами в руке.

— Вас, — сказал он, — проверять почему-то не хочется.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.